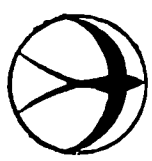
А. Ерёмин

Рябиновая гряда



НОВИНКИ·СОВРЕМЕННИКА·

Александр Еремин

Рябиновая Гряда

Повести

«Современник»
Москва
1978

P2
E70

Еремин А.

Е70 Рябиновая Гряда. Повести. М., «Современник», 1978.

208 с. (Новинки «Современника»).

«Рябиновая Гряда» — новая книга писателя Александра Еремина. Все здесь, начиная от оригинального, поэтичного названия и кончая удачно найденной формой повествования, говорит о самобытности автора.

Повесть, давшая название сборнику,— на удивление гармонична. В ней рассказывается о простой русской женщине, Татьяне Камышиной, о ее удивительной скромности, мягкости, врожденной теплоте, тактичности и искренней, неподдельной, негромкой любви к жизни, к родимому уголку на земле, называемому Рябиновой Грядой.

$\text{Е}\frac{70302-179}{\text{М106(03)}-78}22-78$ **Р2**

©ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВРЕМЕННИК», 1978 г.

Улыбка прощальная

1

Фаину Хмелькову все однокурсники звали Фаечкой, такая она аккуратная, старательная, услужливая, любое общественное поручение выполнит безотказно. Полина Семеновна, читавшая курс неорганической химии, неулыбчивая, въедливо требовательная на экзаменах, оттаивала, когда слушала быстрый говорок Фаины Хмельковой. Правда, глядела на нее сквозь большие очки в черной оправе, как и на других, внушительно и строго, но это из опасения, как бы ее не заподозрили в необъективности: Фая и Полина Семеновна — квартирные соседи и встречаются каждый день. Иногда Полина Семеновна пользуется маленькими услугами своей соседки: то попросит передать в деканат, что нездорова, то накажет захватить из библиотеки такие-то книги, то позовет помочь ей передвинуть комод или гардероб. Мебель у Тужилиных старинная, темная, украшенная резьбой. Громадный шкаф с виноградными кистями на дверцах, диван с гнутой спинкой, зеркало в черной раме, подпирающей потолок,— все было массивное и стояло так, словно пустило корни. Однако время от времени на Полину Семеновну находил стих переставлять эти сооружения прошлого века, и тогда она звала на помогу Фаечку и ее хозяйку Ксению Фроловну.

— Конечно, это бы дело мужское,— говорила она извиняющимся тоном.— Сергей Леонтьевич у меня, сами знаете, здоровьем слаб и вечно занят. Уж мы одни как-нибудь.

— Своротим,— с готовностью окала Ксения Фроловна.— Не будем твоего тревожить.

Еще когда Фая подавала заявление на химфак уни-

верситета, отец дал ей адрес Ксении Фроловны и попросил ее навестить.

— Муж у нее комбатом был. В одно время ранило нас, в госпитале рядом лежали. Пуля ему из виска в висок. Мучился, бедняга. Очнется, меня зовет: пиши моей Ксюше и дочкам. Многонько с тех пор прошло. Бывал я у нее проездом. Одна живет. Может, пока экзамены, у нее побазируешься.

Ксения Фроловна разахалась, услыхав, что за гостья пожаловала, обняла Фаю, расцеловала в пухлые с ямочками щеки. Хоть жильцами она и не собиралась обзаводиться, но дорогой гостьюшке велела располагаться и жить, сколько будет надобно.

— Чего хорошего по общежитиям мыкаться. Живи, доучивай, что лома выучить не успела, и сдавай с богом.

Экзамены Фая сдала не то чтобы с блеском, но до проходного балла дотянула. К списку зачисленных раз десять протискивалась, чтобы с замирающим сердцем убедиться: принята.

Жить она так и осталась у Ксении Фроловны.

Приезжал отец, поздравил дочь с победой. Фае рассиживать с ним было некогда, чмокнула, спросила, как чувствует себя,— и бежать. Не успела поинтересоваться, как дела у него в школе,— а дела хлопотливые: завуч!— о здоровье тетки справиться, хоть выросла у нее на руках, двухлетней оставшись после смерти матери. Петр Андреевич посмотрел вслед дочери с извиняющей улыбкой: некогда, университет — это не средняя школа. Зато Ксения Фроловна вволю отвела с ним душу, расспрашивая о муже, вдруг еще что припомнит, как воевали вместе, раненными в один госпиталь попали. О дочках порассказала. Одна в холодном краю живет, на Печоре, к ней реже ездит; другая у Черного моря, близ Одессы,— к этой почаще. О себе ей вроде и сказать было нечего.

— Живу. К пенсии привесилась. Фаину не ради лишних денег беру, а по душе она мне. Думаю, лад будет.

— Как ладу не быть!— Даже предположение, что кто-то с его умницей Фаечкой, вежливой, воспитанной, может не поладить, казалось Петру Андреевичу просто несообразным.— Обязательно поладите. Что надо по домашности, все сделает.

— Что у меня делать. Али занеможется когда.

Ксении Фроловне нравилась деликатность Фаи, пре-

дупредительность, постоянная готовность услужить. Подруг водила она к себе редко. Иногда заходил племянник соседки Полины Семеновны Яша Дюбин, научный сотрудник Института химии. Ксения Фроловна невзлюбила его и называла хлыщом, разузнав откуда-то, что женат на третьей.

— И что ты в нем нашла,— выговаривала она Фае.— Вислоносый, плешивый.

— Напрасно ты его, тетя Ксеня,— заступалась Фая.— Он у меня экзаменатором был, когда в университет поступала.

— Велика важность. Не он, так другой принял бы. Может, зря, а вот не люблю его, и все тут. С ухмылкой уставится на тебя, глаза масленые... Турну его в другой раз.

— Не надо, тетя Ксеня. Заходит он по делу. А что глядит... Знаю я, где бережок, не оступлюсь.

2

Как-то Полина Семеновна экзаменовала Фаю последней. Похвалила ответ:

— Я так и знала, что вы, Хмелькова, подготовитесь отлично.— Поглядела ей вслед. Счастливая юность, не омраченная заботами о куске хлеба. С нахлынувшей грустью раздумалась о своей юности, скудной теплом и счастьем. Семь лет ей было, когда она в последний раз видела отца. Всего одно письмо пришло от него в конце второго года войны, и после — ни весточки, ни похоронки. Кончилась война, то в одном доме на их улице, то в другом встречали победителей,— отец так и не воротился.

Видит себя Полина Семеновна зимней ночью в длинной, на весь квартал, очереди. Прибежала сюда километра за полтора из пригородной деревушки. Очередь за коммерческим хлебом, ждать до утра. Забылось уже, почему хлеб назывался коммерческим,— наверно, потому, что продавался без карточек. Тогда — не Полина Семеновна, Полька. Ежится в своем плохоньком пальтишке, шалью до самых глаз повязанная, промерзнет до того, что, кажется, все косточки покрылись инеем. Мать прибежит, сунет ей ключ: «Беги, дочка, отогрейся, а я пока постою. Да не усни там». Чтобы не уснуть, брала

книжку «Василий Теркин». Прочитает вслух: «Трижды был я окружен, трижды — вот он!— вышел вон»,— и об отце подумает. Может, мол, и он был окружен, да только выйти не смог, немцы и увели в свою землю. Скитается где-нибудь, домой идет, а дорога не близкая. И мать говаривала частенько: «Жив, чует мое сердечушко». Под Новый год надумала к золовке съездить, в Пустошке та живет, под Псковом. Приехала. Видит, девочка у той, лет шести, куклой играет, какие у нас и не виданы. Личико румянцем дышит, будто живое, платьице с переливцем, туфельки серебряные. После мать рассказывала:

«Спрашиваю золовку, заграничная, мол, кукла-то, что ли?»— «Какая, говорит, заграничная, из Ленинграда, знакомые поиграть моей дали». У самой, замечаю, вполох в душе, девочку скорее в другую комнату уводит, не мешай, дескать, нам с тетей разговаривать. Играй там. Дивлюсь, чего испугалась? Сглажу ихнюю игрушку, что ли? Улучила минуту,— золовка в магазин ушла,— заговариваю с девочкой, где, мол, тебе такую подружку нарядную купили? «Мама сказывать не велела».— «А ты мне шепотком скажи, на ухо».— «Шепотком — ладно. Ее не купили. Дядя Семен прислал». Так меня и шатнуло. «Какой, говорю, дядя Семен? Откуда?»— «Не знаю, говорит, мамин братец, в Бельгии который, далеко где-то. Маме только не говори, а то она меня...» Пообещала, да разве хватит сил промолчать. Приходит золовка, кидаюсь к ней, где мой муж, ты знаешь. «Ну, говорит, коли выведала, так знай. В Сопротивлении был, познакомился с одной,— раненного укрыла его, от смерти спасла, а как Гитлера окапутили, с ней там и остался, в Бельгии. Двое детей у них. Тебя просил не тревожить, пусть, говорит, я для нее и Поли без вести пропавшим останусь». Письма от него показала, в каждом их поминает. Адрес дала.

Не забыть Полине Семеновне, какой пришибленной, словно в уме поврежденной, приехала мать. Написали ему. В город Льеж. Ответил, что знает, как велика его вина перед ними, что тоскует о них, но так уж вышло, и, видно, судьба им разными дорогами идти.

Года через два отец вернулся на Родину с новой семьей. Приезжал и к ним. Печальная была встреча. Говорил, что на Кубани где-то поселился, жене и детям мягкий климат прописан. Больше не виделись.

Мысленно листает Полина Семеновна страницы своей юности. Лишения, угрюмые отсветы войны. Ни хлеба досыта, ни обувки-одежки, какой хотелось бы, о прихотях моды и речи не было, ходили кто в чем. Школа, университет, аспирантура, шесть лет кропотливой работы в лаборатории полимеров под руководством академика с мировым именем. А там — защита кандидатской, лекции и опять опыты, опыты... Непрерывная череда работ, исключительно важных для науки и промышленности. Между дел как-то вклинилось знакомство на городской партийной конференции с Сергеем Леонтьевичем Тужилиным — рядом оказались в президиуме. Сначала парой слов перекинулись по содержанию доклада, потом, в перерыв, посидели за одним столиком в буфете. Сергей Леонтьевич понравился ей: серьезный, не вертопрах. Потом встреча на лекции московского академика о новейшем этапе научно-технической революции. Когда расходились, Сергей Леонтьевич попросил разрешения проводить ее,— жила она далеко на окраине. От конечной остановки троллейбуса шли по деревенски тихой, почти безлюдной улице. За тесовыми заборами вопрошающе — кто идет?— взлаивали псы. Это и была деревня, но город раздвинулся и обнял ее, поля и выгоны заросли громадами заводских корпусов. Остановившись возле калитки с железным кольцом вместо скобы, Полина Семеновна сказала, что благодарит своего любезного провожатого: дошли. Из учтивости предложила зайти. Помнится, сказала: «С мамой вас познакомлю, она тоже в своем роде историк, в памяти у нее множество деревенских историй, а рассказать некому, все одна да одна. Соленьями-вареньями угостит». Тот не стал отнекиваться, зашел — и решительно очаровал старушку разговором о давних крестьянских обычаях и поверьях, а еще больше тем, что с аппетитом ел все, что та выставила на стол. Ел да похваливал: «Божественные у вас, Зоя Демидовна, огурчики», «На славу, Зоя Демидовна, грибки удались». Самовар посвистывает, речи мирно журчат о житье-бытье. Идиллия. Особенно пришлось по душе обеим хозяйкам, что гость и не притронулся к бутылке «российской». Покосился только и осуждающе молвил, что это кощунство таким святым словом отраву называть.

Потом и еще бывал у них Сергей Леонтьевич. Весной помогал разделывать землю под гряды, окапывать ябло-

ни, два воскресенья тюкал топориком — тесал колышки, чтобы подвязать малину и смородину. Невольно улыбается Полина Семеновна, припоминая, как там же, в саду, мать возьми и отмочи такое: «Поженились бы, что ли, а я, пока сила есть, внучат бы стала тетешкать». Сергей Леонтьевич смутился, оспинки на лице порозовели, бормочет: «Я что ж... Как будет Полины Семеновны воля». Была ли у них любовь? Такая, о какой в романах пишут? С нетерпением, огнем во взорах, с готовностью горы своротить на пути друг к другу? Где там! Она не красавица, не молода, о нем тоже не скажешь, чтобы пленял красотой: худой, сутуловатый, на сером лице шадринки от оспы, макушка головы протерта.

Свадьба у них была тихая, без фаты и колец, без нынешних верениц такси, разряженных лентами, словно рысаки в старину. Оба люди серьезные — к чему им эта праздная суета, нетрезвые крики «горько!»? И не по возрасту им публичное целованье, да и временем оба дорожат. Потехе даже часа много. Степени и звания обязывают быть на уровне последних достижений науки. Поток информации все стремительнее, идти вперед все труднее. В первые же дни делового и благоразумного семейного счастья Полина Семеновна сказала, что надо избежать всего, что может помешать их научной работе. Всего, подчеркнула она. Сергей Леонтьевич понял: включая детей. Знала, что он думает по-другому, но успокаивала себя: после сам поймет ее правоту. Наука ревнива, тут или—или. Их труды — не личная прихоть, а исполнение долга обществу, государству, давшему им образование. Она должна завершить цикл работ по получению полимеров с заданными химическими свойствами,— это же новые материалы, нужные промышленности, народу, новые, легкие, красивые, неизносимые ткани и многое-многое другое.

Сергей Леонтьевич уныло кивал: конечно. Докторские на очереди. Закруглять надо.

3

По соседству, Полина Семеновна позвала Фаю встретить Новый год вместе с ними.

— Придет кой-кто. Скучать не будете. Поможете нам с мамой угощение приготовить.

Фая помялась: удобно ли? На кухне помочь, это пожалуйста

— Почему только на кухне!— возразила Полина Семеновна.— Будете нашей гостьей. Согласны? Я так и знала, что не откажетесь.

«Я так и знала» было у нее присловьем, как у других «так сказать».

На кухне она познакомила Фаю со своей матерью. Втроем дело пошло спорее. Готовили салат, бутерброды, раскладывали на тарелки кексы и пирожки. Зоя Демидовна похвалила Фаю — все-то у нее выходит красиво и ловко.

— Хорошей будешь хозяйкой. Дай бог тебе и мужа хорошего.

— Уж вы скажете,— застыдилась Фая.— Я о науке мечтаю.

— У нее аналитический ум,— подтвердила Полина Семеновна.— Фая будет ценным научным работником. Замужество не уйдет.

— Кто знает,— вздохнула Зоя Демидовна.— Дочки все так, будто молодости и конца не будет. Невдомек, что годы-то под гору да под гору. Придет время, замуж бы дочкам, а уж старость рядочком. В соседях у меня... Красавица. Я, говорит, еще свое возьму. Замуж-то, мол, когда? Выбираю, говорит. И все ей не по душе. Тот пьяница, тот не глянется, тот глянется, да за другой тянется. Ладно, говорит, меня пожилой принц с первого взгляда полюбит.

Фая тоже пообещала принца дождаться.

— Как же соседка ваша? Нашелся?

— Принц? Нашелся. Пожилой. Зайдет: «Выпьем, Аллочка!» Выпьют, музыку закрутят. Роман-то вряд ли крутили. Потом и дорогу к ней позабыл. Одна стала выпивать. Дальше — больше. Чертежницей была,— уволили, твердость в руках пропала. В похоронном бюро сейчас, парафиновые цветочки лепит.

По одному и супружескими парами сходились гости, больше коллеги Сергея Леонтьевича из педагогического: историки, тощий, желчно улыбавшийся словесник, бородатый, длинноволосый фольклорист, уверявший, что ему с такой первобытной растительностью деревенские старушки охотнее сказывают старинные были и небылицы. Экономиста, автора нашумевших статей по демографи-

ческим вопросам, встретили колкими шуточками, скоро ли женится, чтобы форсировать рост народонаселения.

Когда стол, раздвинутый во всю ширь в большой комнате, был заставлен бутылками и едой, Фая хотела незаметно уйти. Полина Семеновна удержала ее за руку.

— Ни-ни, Фаечка! Будете у нас представлять младое племя.

Как водится, новогоднее застолье началось с тоста в честь хозяйки, приготовившей такой пир, и хозяина, потом выпили за наступающий Новый год. Одобрительно помянули уходящий старый год. Выпили за успех недавно вышедшей книги Сергея Леонтьевича о волжских болгарах, за новые научные достижения Полины Семеновны, о которых писали все газеты.

За столом делалось все шумней. Химики пригрудились к хозяйке, у них свое: полимеры, формальдегид, диоксолан, триоксолан... Историки свое: «А Соловьев что говорил?»... «Учтите, как это Греков трактовал»... «Новейшие изыскания академика Рыбакова»...

Напротив Фаи бородатый фольклорист и желчно крививший губы словесник спорят о каком-то романе. Словесник скрипуче доказывает, что весь роман — сплошная литературщина.

— Пожилая супруга без конца сетует, что ей ужасно приелся муж.

— При чем тут литературщина?— флегматично возражает фольклорист.— Подхватили словцо, бог весть кем пущенное, и давай швырять направо-налево. А спроси, что оно значит, битый час языки будут мочалить: то, се... Почему для других искусств нет такого клейма? Не говорят же архитектурщина, скульптурщина, живописщина... Что там, все прекрасно? Нет примитивных, банальных произведений? Сколько угодно. Плохая картина? Так и говорят: плоха потому-то. Плохой роман? И говори, чем плох, не отделывайся пустым разносным словцом. Белинский и Добролюбов без него обходились.

Слушать их Фае было неинтересно. Слева от нее спор показался ей куда любопытнее. Схватились два историка. Один, постарше, с просторной лысиной, жалуется: падает в высшей школе лекционное мастерство.

— А почему?— Он поднимает вилку с кружком колбасы.— Забота о степенях. Кандидат наук докторскую пишет, доктор над монографией сидит, в членкоры метит...

Тому отпуск на год, тому на два, творите, меж отпусками командировки, стажировки... А кто, позволь спросить, наукой юношей питает? С кафедр кто глаголет? Ассистенты, бесстепенные преподаватели.

Другой, помоложе, упитанный, с розоватыми тугими щеками и ямкой на подбородке, из которой словно только что вывалился лесной орех, добродушно ухмыляется.

— Прикажете научные работы отменить?

— Приказал бы престиж лекций поднять. Разумно ли делаем, степени магическую силу придавая? Степень — так и талант? Поясню. Ты кандидат, а лекции читаешь, как лапти во сне плетешь, и речь у тебя — будто язык в киселе вязнет. Другой без степени, а сравнить вас, он как лектор — звезда, любовью к науке горит и других зажигает. Да и в знаньях тебе не уступит. Одна беда — степени нет. Мало ли почему: Воз общественных поручений везет за нас с тобой, диссертацию писать некогда. Да и знает, велика ли цена труду в трех экземплярах на машинке. И все-таки — настоящий ученый. И учитель. Для него каждая встреча с аудиторией — праздник, а ты на лекцию идешь нехотя, как медведь на пляску, студенты у тебя дремлют. Лекций читаешь ты втрое меньше, чем тот Демосфен, а семишников перепадает тебе не в пример больше.

— Полагаю, ты не мои лекции имеешь в виду?— настороженно осведомляется упитанный.— На мои даже с других факультетов...

— Твои — не твои, не в том дело. Лекционное искусство падает. Где наши Грановские, Ключевские?.. Перекос со степенями вышел, перекос.

Фая мысленно перебирает своих лекторов. То же самое. Ученые светила редко восходят на кафедры.

Общий разговор за столом никак не увязывается. Кто-нибудь выкрикнет тост, и опять гудят группами, каждая свое. Справа от Фаи тоже историки, эти витают в сферах нравственных проблем. С ними и хозяин, Сергей Леонтьевич. Сегодня на нем белая, в голубую полоску рубашка, должно быть, прямо из магазина, галстук повязан аккуратно, черный костюм с иголочки, новый. Наверно, перед тем как выпустить его к гостям, Полина Семеновна придирчиво оглядела, все ли на нем как следует. В обычное время его, кажется, не очень волнует, как он одет. Недавно Фая поднималась вместе с ним

в лифте, пригляделась: воротничок рубашки заношенный, на месте верхней пуговицы у пальто болтаются нитки. Взгляд у нее так и тянулся к этим ниткам. Перехватив его, Сергей Леонтьевич тоже поглядел на них.

— Наверно, в автобусе,— смущенно объяснил он.— Пришью. Только вряд ли такая-то сыщется. От рукава придется, там незаметно.

Однако и вчера встретила его в том же пальто без верхней пуговицы. Хотелось подойти к нему и сказать: «Сергей Леонтьевич, у тети Ксени целый ящик всяких пуговиц, и такая найдется, я уж глядела. Зайдите, она вам в минуту притянет». Не подошла, постеснялась.

Понятно, супругам Тужилиным не до таких пустяков: заняты, пишут научные труды.

Как-то декан попросил Фаю передать Полине Семеновне пакет из Москвы. Полина Семеновна бюллетенила и все-таки сидела за столом, обложившись журналами и рефератами на иностранных языках. Разорвав пакет, пробежала по диагонали бумаги и с облегчением вздохнула: отзывы на ее докторскую. Положительные. Фая поздравила ее, прислушиваясь, как Сергей Леонтьевич у себя в кабинете долбит что-то на машинке. Одним пальцем. Фая с удовольствием бы помогла бедняге, она отлично умеет печатать. У тетки навострилась, та как пулемет строчит.

Пуговицы подождут. Заняты супруги Тужилины. Они и питаются, наверно, кой-как. Разве Полине Семеновне до муторных кухонных хлопот! Она и сейчас, за новогодним столом обсуждает с коллегами последние работы академиков Разуваева и Девятых.

Сергей Леонтьевич обеими ладонями отталкивает какие-то резоны соседа, уверяющего, что у нашей молодежи ножницы между интеллектом и этикой, инфантильность, потребительские склонности и еще какие-то изъяны.

— Напраслина, не докажете, — протестует он. — Есть и такие, в семье, как известно... Но в целом...

— Может, и легкость брачных отношений отрицать будешь? — с ехидцей тянет другой сосед.

Посыпались шутки над непрочностью нынешних цепей брака. Яша Дюбин, только что пришедший и уже изрядно на взводе, предложил сдать вышеназванные цепи в металлолом.

— Нет, позвольте, — вскочил экономист. — Цепи брака — метафора. Пусть цепи, но ведь их звенья — самое необходимое на земле и самое прекрасное — дети.

Опять шутки: женщинам теперь не до звеньев, столько чинов, званий, должностей...

— Не верю! — экономист махал руками, требуя тишины.— Мать — это... Помните, у Горького: восславим женщину-мать. Это же — самое высокое призвание женщины — быть матерью. Все будущее — в женщине, в детях. А вот мы спросим, что думает об этом самая юная среди нас. Скажите, — он протянул руку с рюмкой в сторону Фаи, — хоть одного мечтаете подарить миру?

— Я? — Фая вспыхнула и потупилась. — Почему одного. У меня... трое будет. Два мальчика и...

Все рассмеялись, захлопали в ладоши.

— Приветствуем!

— Вот это будет демографический взрыв!

Врезывается фальцет Яши Дюбина:

— Выпьем за потомство Фаины Петровны. Фаечка, влюблен! Мое сердце у ваших ног.

Шумный говор, тосты, непрерывно гремящий телевизор, — забыли даже следить по часам, много ли осталось до двенадцати.

4

Гости разошлись в половине второго. Племянника развезло, и пришлось уложить его на раскладушке в той же большой и неубранной комнате. Оставшись наконец с мужем вдвоем, Полина Семеновна пожаловалась на головную боль от вина и пустой болтовни.

— Кто во что. Я так и знала, что демографию приплетут. Экономист твой... Зря много на том конце стола бренди поставили. Набрендился.

— Шутили, — извиняющим тоном ответил Сергей Леонтьевич.— Не все же о плазме и полимерах.

Из соседних квартир приглушенно доносились еще выкрики, смех, музыка. «Хаз-Булат» сменялся топотом, откалывали «барыню»... Сергей Леонтьевич долго не мог уснуть. По какой-то и самому неясной связи он вдруг почувствовал себя странно одиноким. Казалось бы, чего лучше: на очереди докторские, не мешают ни склероз, ни дети. И все-таки чувство смутной растерянности, обид-

ной неполноты, обделенности не проходило. Словно что-то могло быть в его жизни яркое, светом счастья заливающее душу, — и не было. Да и когда было сиять ему, этому счастью? Детские годы пришлись на войну. Мать получила с фронта две похоронки — на его старших братьев. Отец работал на оборонном заводе и погиб во время налета вражеской авиации. После войны — завод. Годы самые жениховские, приодеться бы да приударить бы за какой-нибудь модницей с соседней ткацкой, — сцепив зубы, откладывал: в институт надо было готовиться. Потом — кончить так, чтобы несовестно было диплом получать. А там аспирантура, диссертация, кафедра в том же институте.

Знакомство с Полиной Семеновной он только в шутку мог бы назвать романом. Сначала она показалась ему и старенькой, и некрасивой, большие очки в черной оправе делали ее лицо неприступно строгим. В такую не влюбишься. И все-таки приятно было посидеть в уютном доме на окраинной улице, отогреть душу за самоваром в бесхитростной, почти что семейной беседе. Зоя Демидовна радушно потчевала вареньями и компотами из яблок, вишен и слив, приговаривая, что все это некупленное, все фрукты-ягоды они с Полей в своем саду возрастили. Любопытно было послушать Полину Семеновну, чем еще собираются химики удивить человечество. И хоть красавицей она ему в этих зачайных беседах не казалась, ум ее и простоту, без всяких подвохов кокетства, нельзя было не оценить.

Недолгое время спустя холостяк Сергей Леонтьевич, обитавший в многолюдной комнате студенческого общежития, стал женатым Сережей. Как человеку семейному, предоставили квартиру в новом доме. Потекла мирная супружеская жизнь. Бывали и размолвки. Сергей Леонтьевич заговаривал о настоящей семье, чтобы подлесок шумел. Полина Семеновна рассуждала практичней: надо закруглить докторские, а там можно будет решить эту проблему в рабочем порядке.

Шли годы, спокойное бездетное сожительство стало привычным. Оба преуспевали в науке. Сергей Леонтьевич писал монографию о волжских болгарах, увлекся археологией. Их работы публикуются в самых авторитетных специальных изданиях. Чего еще? Кто знает чего. Ворочается Сергей Леонтьевич в своей постели, старает-

ся перевести то, что творится у него в душе, в ясные логические понятия, — ничего не выходит. Да, степень, звание, авторитет — все есть, и доктором он будет, и профессором, это в его силах, трудолюбия ему не занимать. Твердая под ногами дорога, надежная, а вот — сердце будто очнулось и тревожно бьется в глухой безответной пустоте.

Раздумается о жене. И ее жалко. Тоже в душе одинокая. Понятно, не каменная баба в степи, и в ней голос естества говорил. Вспомнилось, как с полгода назад приезжала дочь Ксении Фроловны откуда-то с Печоры с двумя девочками, около месяца гостила у матери. Иногда Ксения Фроловна заходила со своими внучками похвалиться, какие они в свои пять и семь лет умные и смышленые. Как-то он приотворил дверь из своего кабинета, — полюбопытствовал, что у них за веселье, видит, посадила обеих Полина Семеновна себе на колени, судорожно обнимает и целует, целует... Голос естества.

Сергей Леонтьевич отмахивался от этих мыслей, уговаривал себя уснуть, — не помогало. Так и начался у него новый год с надломом в душе.

5

К тому времени, когда Полина Семеновна наконец-таки закруглила докторскую, Фая успела кончить университет. Работа была предоставлена ей в лаборатории химкомбината. Пообещали квартиру, правда с оговорками, судя по которым расставанье с Фаей Ксении Фроловне в скором времени не грозило.

На вокзал Полина Семеновна уезжала одна: Сергею Леонтьевичу надо было на лекцию. Стоя у полуоткрытой дверцы «Волги» с шахматной полоской по борту, она методично наказывала мужу не переутомлять себя умственным трудом, больше налегать на витамины.

— Обедать придется пока в столовой. Какая досада, что мама нездорова, она так славно готовит. Впрочем, ты это и сам знаешь. Ну что ж, пора. Надо бы еще проститься с нашей соседкой. Да вот, кстати, и она. — Полина Семеновна кивнула шоферу, чтобы подождал еще минутку, обошла машину навстречу Фае и протянула ей руку. — А я только что подумала о вас. Уезжаю. Возможно, знаете, с какой целью.

Фая, пожимая ей руку и улыбаясь, ответила, что, конечно, знает.

— Будем вас ждать с победой.

— Надеюсь, но... — Полина Семеновна вздохнула. — Бывают такие неожиданности. Впрочем, где их нет. Кажется, теперь со всеми простилась, можно и ехать. Береги же себя, Сережа. Как приеду, тут же черкну. И ты мне тут же, тут же. Счастливо оставаться.

Хлопнула дверца «Волги». Шофер дал газу, машина всхрапнула, рванула с места и через минуту затерялась в автомобильном потоке улицы.

— Осиротели? — шутливо посочувствовала Фая. Взглянув на портфель в его руках, спросила, не на лекцию ли.

— Да. По летнему обыкновению, заочники.

— А я недавно вас в Доме ученых слушала. Об истории нашего города рассказывали.

— Не заметил. Дремали?

— Что вы? Очень интересно. И как это вы все, все помните? Другие выкрикнуть «Товарищи!» без листочка не могут.

— Беда мне с этими листочками, — посетовал Сергей Леонтьевич. — Свою клинопись чуть разбираю, а печатать... Зря только «Оптиму» покупал. Тычешь, тычешь одним пальцем.

— Слышала как-то, — с лукавинкой в голосе и улыбаясь заметила Фая. — Не бойко. Ну что ж, могу выручить.

— Вы? Умеете?

— Еще как! Тетка говорила, пальцы у меня как град сыплются.

— Так выручите! — взмолился Сергей Леонтьевич. — И нужен-то бывает пустяк. Заплатки в докторскую. По десятку строк, а я маюсь над ними, маюсь... Удобно ли, если я к вам с машинкой?..

— Отчего ж неудобно. Тетя Ксеня все еще у дочери где-то на юге, так что мешать некому. Только зачем же! Из-за десятка строк? Это мне и на полминуты мало. Приготовьте побольше, как-нибудь забегу и перестукаю.

Забежать Фая не решалась. Вдруг из его приятелей кто завернет, а тут она за машинкой. Неудобно, у него такой авторитет...

Не решался и Сергей Леонтьевич зайти к ней. Кто

знает, что подумает она, не будет ли говорить про себя: «Вот навязался!»

Над кнопкой звонка в квартиру Ксении Фроловны еще прошлой осенью Фая воткнула ветку рябины. Листья потемнели, пожухли, а ягоды, времени наперекор, все еще красные. Посмотрит на них Сергей Леонтьевич, вспомнит, как Фая тянулась на цыпочках, чтобы укрепить ветку, — он как раз выходил из своей двери, — и заробеет, отступит. Лучше случайной встречи дождаться, тогда и напомнит, что, мол, кто-то собирался зайти и оказать скорую печатную помощь.

И вот она — случайная встреча. Возвращаясь с лекции, Сергей Леонтьевич заметил Фаю в скверике сбоку их дома на скамье, многоугольником опоясавшей разноцветный грибок. Окруженная крикливой стайкой детворы, она, кажется, едва успевала тому утереть нос, той повязать бантики на голове, тех помирить. И все время звенел непрерывный веселый говор. Сергей Леонтьевич присел неподалеку на скамью: оглянется Фая, он с ней и заговорит. Фая не оглядывалась, увлеченная хлопотами и болтовней: девочке с бантиками надо было объяснить, почему кукла не говорит, забияке мальчишке — что нехорошо пускать в ход кулаки... Одна, совсем крошка, обещала:

— Я не буду плякать, а ты?

Другая, побольше, лезла с признанием:

— А я, тетя Фая, болеть люблю: все ухаживают и обязательно чего-нибудь сладенького дадут.

Третья, должно быть любительница телевизора, тянулась обнять ее.

— Тетя Фая, дай я тебя долго-долго поцелую, как в кино.

Сергей Леонтьевич, растроганно улыбаясь, послушал еще минуты две-три и, чтобы не смутить ее, тихонько ушел.

В тот же день встретились внизу у лифта. Когда поднимались вместе, Сергей Леонтьевич стеснительно откашлялся и сказал, что заплатки в докторскую все ждут.

— Нести в машинописное бюро, — скажут: такими пустяками не занимаемся. Зашли бы, Фаина Петровна.

— Если уж очень нужно, — помялась Фая.

— Очень.

— Ну тогда... зайду через часик.

Зашла.

Сергей Леонтьевич, проспявший и словно помолодевший, усадил ее за машинку. Предупредительно сказал, что будет диктовать, потому что почерк у него все называют куролапым.

Печатать надо было что-то из древних времен, о хождении в торговле Руси с волжскими болгарами диргем, драхм и динариев. Много было слов непонятных, каких Фая прежде и не слыхивала. Она переспрашивала. Сергей Леонтьевич наклонялся к ней и, касаясь щекой ее волос, выводил эти слова на клочке бумаги печатными буквами.

Диктовал он медленно. Заглядится, как пляшут ее пальцы, и вдруг подумает, что мелькающие над клавишами ногти похожи на взметенные ветром розовые лепестки. Или вспомнится из Гомера младая с перстами пурпурными Эос. «Дальше?» — окликнет Фая. Он очнется, бегает глазами по странице рукописи. «Минуточку, Фаина Петровна, тут цитата была, закавычили. Сейчас отыщу».

Хотелось, чтобы она не уходила как можно дольше, но — заплатки кончались.

— Вот и все, — с безжалостной веселостью проговорила Фая, вынув из машинки последнюю напечатанную страницу.— Ваших заплат хватило ровно на двадцать минут.

— Да, да, изумительно быстро. Пальцы у вас — как это ваша тетушка говорила?

— Градом сыплются, — напомнила Фая. — А заплатки — вот в этот фолиант? — Она похлопала ладонью по толстой рукописи в изрядно потертой папке.

— В этот, — сникшим голосом поддакнул Сергей Леонтьевич. — Что же еще и осталось мне! Заплатки в диссертацию. Нескладно прожитую жизнь коротаю.

Сдвинув каретку на середину, Фая удивленно поглядела на него снизу вверх.

— Прожитую? Шутите, Сергей Леонтьевич. Вы в самом... Как бы это вам? — в самом разумном возрасте. И почему — нескладно? Уж это вы зря так обидно о своей жизни Много делаете в науке, учите. Я видела ваши книги. Такие внушительные. Читала ваши статьи в газетах Вы так живо пишете, и все-все понятно. А лекции... Я после той — помните, говорила? — еще две слушала.

Так увлекательно рассказываете! Уверена, что студенты любят вас. И вдруг — прожитая! Не шутите так. У вас еще степень доктора будет.

— Что степень! — Сергей Леонтьевич нахмурился и потер ладонью лоб. — Это внешнее. В душе... Да нет, к чему вам об этом. — Что в душе, так и не сказал.

Фая ушла, пообещав оказать такую пустяковую услугу и в другой раз.

— Накопятся ваши заплатки, и скажете.

Сергей Леонтьевич пробормотал, что ему совестно отнимать время у Фаины Петровны, надоедать. Он уж лучше одним пальцем.

— Как много лишних слов, — рассмеялась Фая. — Мне очень интересно, о чем вы пишете, и вообще... приятно посидеть у вас. Все у вас так серьезно. Книги, картины в бронзовых рамах... Так что скажите, я с удовольствием.

Щелкнул замок в двери, и в квартире стало тускло и сумеречно, словно горел свет и погас. И опять Сергея Леонтьевича охватило то щемящее тоскливое одиночество, которое постоянно испытывал с той новогодней ночи, когда сердце у него вдруг словно споткнулось. Даже сам себе он стыдился признаться, что, думая о каком-то большом настоящем счастье, которое обошло его стороной, он думал о тети Ксениной квартирантке.

Тот вечер Фая давно уж, наверно, забыла, а он все помнит. Когда гости разошлись, он с угрюмой ясностью увидел, что до сих пор жил будто механически. Да, он делал все, что и надо было делать: учился, сдавал экзамены, писал кандидатскую... Все время даже слово любовь оказывалось вроде некстати. Ни разу не было оно сказано за все время знакомства и потом совместной жизни с Полиной Семеновной. Не было в нем нужды, потому что место любви заняли спокойная уверенность друг в друге и терпеливое житейское согласие. Так оно и должно быть, убеждал он себя. Полина Семеновна умна, рассудительна, заботится о нем по мере возможности. Налаженная, по часам размеренная жизнь, оба уверены друг в друге и в завтрашнем дне. Чего еще?

Он осторожно погладил клавиши машинки, которых только что касались пальцы Фаи, усмехнулся. Старый чудак! Доцент, член парткома, председатель полдюжины разных комиссий — и глупые запоздалые мальчишеские

переживания. Твердо кладет ладонь на папку с диссертацией и вслух говорит, что хватит сумасбродно терять голову, надо сосредоточить внимание на докторской. Вспомнилось, как покойный отец от всех недугов лечился каким-нибудь делом. Заноет поясница, он — дрова колоть. Расколет десятка два кряжей один другого виловатее, — и здоров. В ногах ломота подымется, он, хоть пурга, хоть дождь лей-перелей, — к приятелю в деревню за три версты наладит. Воротится — и никакой ломоты.

За работой и «это» пройдет. «Это» Сергей Леонтьевич даже в мыслях избегал называть любовью — и не мог избежать: другого названия не придумано.

Пройдет, решал он, разрезая длинными ножницами напечатанные страницы и вклеивая вставки в диссертацию. Конечно, пройдет. А дальше? Как говорили в старину, нести крест, терпеть постылое сожительство, лицемерить, притворяться, что ничего не произошло? Можно смириться, нести, но такой же крест, или еще тяжелее, взваливается и на другие — слабые женские — плечи.

Раздумывала и Фая. Таким странным Сергея Леонтьевича никогда не видела. Смотрит на нее — будто о жалости просит. Вздыхает: жизнь прожита. Это в сорок лет с чем-то! Да еще — нескладно. Любой скажет: примерная у Сергея Леонтьевича жизнь, складнее некуда. Кажется, он хотел сказать: нескладно в душе. Тут уж совсем потемки. И почему признания эти — ей? Бедный Сергей Леонтьевич, уж не она ли возмутила его ученое спокойствие? И когда это началось?

Вспомнила новогодний вечер, когда она еще была студенткой. Задорно и, наверно, глупо брякнула тогда, что уж она без детей не останется. Все повалились со смеху, только он посмотрел на нее как-то печально и ласково.

И еще вспомнила, как он смутился, когда встретила его однажды в парке под руку с Полиной Семеновной. Подумала тогда, какое согласие! Он идет справа, голова у него склонилась к голове супруги влево, у нее соответственно — вправо. Даже когда видела их на улице порознь, голова у него была немножко с наклоном влево, у нее вправо. Привычка.

Встретит его на лестничной площадке или вместе угодят полминуты побыть в лифте, он уважительно зовет ее по имени-отчеству и стеснительно улыбается.

Уж не вздыхаете ли вы, милый Сергей Леонтьевич, обо мне? И не мечты ли зовете вы заплатками на свою нескладную жизнь?

С любопытством и — что таить от самой себя! — с волнением ждала, вот-вот постучится он и, стеснительно улыбаясь, попросит оказать скорую печатную помощь.

Не стучался, должно быть, ждал, когда удастся встретить ее случайно. Жить рядом, — как не встретиться, особенно если этой встречи ждешь.

И вот Фая опять у Сергея Леонтьевича за пишущей машинкой. Сегодня он так рассеян, что путает имена, даты, вместо «болгары» то и дело говорит «хозары», и ей приходится застукивать напечатанное.

— Давайте после, — предложила она. — Вы чем-то расстроены.

Словно испугавшись, что Фая встанет и уйдет, он удержал ее за плечи:

— Нет, нет... Я хочу сказать вам... Посидите. Заплатки эти — пустяк, предлог, чтобы побыть с вами. Можно и отложить. Но то, что наконец решаюсь сказать вам... Воля ваша ничего не ответить мне или назвать душевнобольным. Да я и есть душевнобольной, потому что... полюбил вас. Давно. Не минутное это чувство. Знаю, смеяться будете, но... в сорок с лишком лет впервые говорю это слово.

— Зачем же смеяться, — тихо возразила Фая. — Если так сложилась жизнь...

— Так сложилась, — повторил Сергей Леонтьевич. — Мне уж одно это дорого, что верите. Понимаю... нелепость свою, безумие... Разница в летах... И все-таки... посмейтесь заодно и над этим — применял к себе пушкинские стихи: «И, может быть, на мой закат печальный блеснет любовь улыбкою прощальной». Нет, и улыбка прощальная не для меня. Если никакого ответного чувства... Забудем, Фаина Петровна, этот разговор.

Склонив голову и еще тише Фая ответила, что уважает Сергея Леонтьевича и напрасно он с каким-то отчаянием говорит о своих летах.

— Зачем вы о себе так жестоко: безумие, закат... Может быть, от того, что привыкла к вам, даже не замечаю, что вы намного старше меня. Просто вы серьезнее, разумнее, у вас больше опыта. Ответное чувство... Это так неожиданно. Я бы солгала вам, если бы сказала, что

ваши слова оскорбляют меня, но... как же вы забыли, что вы... несвободны?

— Помню. То, что вы имеете в виду, давно уже... только внешнее. Между нами... Да что там! Между нами такая пропасть отчужденности.

Фая недоверчиво покачала головой.

— Какая же пропасть! Вы немножко увлеклись и преувеличиваете. Полина Семеновна любит вас. Умная, всеми уважаемая. Столько лет мирного супружества...

— Сожительства, — угрюмо поправил Сергей Леонтьевич. — Одиночества вдвоем. Нет, Фаина Петровна, внутренне мы давно свободны. И лучше пусть настоящее одиночество. Полное, без надежды.

Шепотом, так что едва слышно было самой, Фая ответила:

— Почему без надежды?

6

Перед тем как тете Ксене приехать, Фае в месткоме сказали, что поздравляют ее: комиссия по распределению жилплощади предоставляет ей однокомнатную квартиру в новом районе.

— Рада?—спросила ее председатель комиссии, седая, с печальными усталыми глазами женщина. — Конечно, рада. Пришлось повоевать. Заладили: давать с детьми которые. Правильно. А тем, которым детей давно уже заводить надо, им без своего угла как же? Выбила. Живи, заводи. Понятно, сначала мужика. Есть на примете?

— Найду.

— Спеши, Фаина. Годы не пароходы, назад не воротчаются. Ну да ты девка видная, со своим гнездом одна не останешься.

В тот же день Фая слетала поглядеть, в каком доме жить будет. Окраина города, десятка два новеньких, с иголочки, многоэтажных домов, рядом лес и ни единой дымящей трубы. Все ей показалось таким чудесным, что хотелось петь, обнять кого-то, закружить.

На радости постучалась к Сергею Леонтьевичу, от порога выкрикнула, что больше она не квартирантка, а владелица двадцатиметрового терема.

— Вдруг соскучитесь по своей бывшей соседке, прошу в гости. Могу адресок дать.

Удивилась, что Сергей Леонтьевич посмотрел на нее как-то растерянно.

— Вы успели забыть, о чем мы с вами...

— Забыть? — вопросительно и с удивлением повторила Фая. — Вот же вам доказательство, что помню. — Она подбежала к нему, вскинула руки ему на плечи и прижалась щекой к груди. — Помню. Только... милый Сергей Леонтьевич, пройдет это у вас. Приедет Полина Семеновна, поздравите ее с докторской степенью, и все будет хорошо. Может, еще в парке на вас полюбуюсь, как вы голова к голове... А я, — она отступила, поправила волосы, — я — третья лишняя. Не будем больше... Когда решитесь наведать, господи, как рада буду! А сейчас — вчера телеграмма была — к тети Ксениному поезду не опоздать бы.

Подоспела. Тетя Ксеня обрадовалась, будто ей навстречу третья родная дочь спешила. Про себя подивилась: вроде никогда оживленной такой квартирантку не видела. Неужто приездом своим до того осчастливила? Может, другое что? Так и есть. Первая же новость Фаи — какие-нибудь пять-шесть дней, бумажные формальности, и она будет на седьмом небе, то есть на седьмом этаже великолепного дома в изумительном районе рядом с чудесным лесом, и будет сама хозяйкой квартиры с окнами — она уже смотрела — на солнечную сторону.

Новость и порадовала Ксению Фроловну — наконец-то Фая свое гнездо завьет, — и огорчила до слез: опять одна. И все-таки подумалось: верно, пускаются в пляс от новоселья, а может, и еще от чего Фаина будто вся насквозь радостью светится? Полушутя спросила, замуж тут без нее не вышла ли? Фая притушила блеск в глазах, отшутилась:

— Жду, когда жениха сыщешь.

— Где ж его сыскать, — вздохнула Ксения Фроловна. — Молодых не знаю, а за неровнюшку сама не посоветую. В старину и в песнях певали: из горей горе, коли замуж выдадут на дальнюю на сторонушку да за старого, за неровнюшку.

Прямо из вокзала подземным переходом вышли к трамвайной остановке.

Через неделю Ксения Фроловна провожала свою квартирантку на новоселье Хоть и невелика была Фа-

инина поклажа, вся убралась в узел да в саквояж, и можно было доехать на автобусе, но по такому торжественному случаю вызвали такси. Знай наших!

7

Полина Семеновна приехала неожиданно, неделей раньше. На ее звонок Сергей Леонтьевич вышел с очками на лбу.

— Здравствуй и поздравь, — пропела она, ставя чемодан. — Твоя бедная труженица перешла Рубикон.

— Разумеется, поздравляю, — ровным голосом ответил он. — Уверен был, что перейдешь. Устала?

— Очень.

Хоть в их отношениях давно уже не было теплоты, все же Полине Семеновне подумалось, что он мог бы выйти поспешнее, помочь снять ей пальто, на что когда-то хватало внимания и догадки. Раздевшись, она с приятным изнеможением села на диван.

— Если бы муженек догадался напоить чаем!

— Это сейчас.

И опять ей подумалось, что он мог бы проявить больше радости, на худой конец, интереса. Не из командировки на какой-нибудь химзавод вернулась, с защиты докторской. Такое бывает раз в жизни. Ему все равно. Шумит на кухне водой, посуду моет, словно не мог раньше. Целый час собирает на стол. Или потому и не торопится, чтобы не быть с ней вместе? Нет, нет, возражает она себе, просто немножко за это время отвыкли друг от друга.

Жизнь опять входила в свою буднично-трудовую колею.

Когда Полина Семеновна принималась рассказывать, как проходила защита, Сергей Леонтьевич сухо замечал, что техника производства кандидатов и докторов давно обкатана и ничего нового тут нет.

Сначала она подшучивала, что ее муженек решительно одичал без нее со своими древними кочевниками, потом стала с беспокойством выпытывать, не случилось ли у него какой неприятности на работе, отчего он замкнулся, как-то одеревенел. Сергей Леонтьевич хмурился и пожимал плечами: живут они, как и раньше жили, ворковать он и раньше не умел. И о чем? О полимерах?

Иногда он заставал Полину Семеновну плачущей. Рассудком жалел ее и говорил, что не из-за чего лить слезы: люди они серьезные, занятые, и глупо без основательного повода...

— Какого еще повода, — вскрикивала Полина Семеновна. — Чужим стал.

И опять Сергей Леонтьевич пожимал плечами: пустые слова, не объясняться же на пятом десятке в любви.

В такие минуты он осуждал и корил себя за жестокость. Подойти бы и утешить каким-нибудь незначащим словом. Каким? Любое будет неискренним. Что делать, опостылело ему это благоразумное, спокойное, самоудовлетворенное благополучие.

Измученная угрюмой отчужденностью мужа, Полина Семеновна искала своей вины и не находила.

Как-то заглянула к ней Ксения Фроловна за термометром, — свой разбила, а чует, что неможется.

— Будь Фаина рядом, минутой бы в аптеку слетала.

Полина Семеновна была одна. И не думала исповедоваться соседке,— нечаянно вырвалась жалоба, что будто у нее подменили Сергея Леонтьевича, совсем стал чужим-чужой.

— Уж не другая ли тут к нему...

Ксения Фроловна с сомнением поджала губы.

— Не побожишься. Один тут пасся. Кого из женатых мужиков бес под ребро не пырял. Сам-то что говорит?

— Ничего. Молчит.

— Эко горе. И как же вы?

— Так. Молчим. Утро — он налево, я направо. Иной раз до того, что... не могу. Лучше разойтись.

— Отрубила: разойтись. Шутка — дело, прожить столько — и по сторонам. Обговорить надо, столковаться.

Подумывала Ксения Фроловна как-нибудь с подходцем у самого выведать, что ему ладом с Полиной Семеновной не живется. Умная, ученая, характером покладистая — и вдруг плоха стала. С чего затмение нашло?

Неделя, другая, подходящий случай не подвертывался. Да и такое соображение верх взяло: станет ли он ей каяться, особенно если и в самом деле без лукавого не обошлось.

Во всем Ксения Фроловна любит порядок. Летом распахнет окно и зорко оглядывает двор. Там уже густо

разрослись между асфальтовыми дорожками березы, липы, кусты сирени. И вот уже далеко слышен ее по-молодому звонкий голос:

— Гражданка, веревку к дереву привязывать не положено, на это столбики есть.

— Мальчики, тут газон, а не волейбольная площадка.

— Гражданин, ваш бульдог портит цветы на клумбе.

В семье Тужилиных непорядок посерьезнее бульдога без поводка, и быть безучастной свидетельницей Ксения Фроловна никак не может. Решила наведать Фаину, может, она что по соседству заметила. Заодно поглядеть, как свое гнездо обживает.

Речь издалека повела:

— Все одна, Фаюшка?

— Все одна, тетя Ксеня.— Фая отвечает невнятно: прибивает коврик над новой кроватью под красное дерево — и в зубах у нее гвозди.

— Неужто дорожку к тебе так никто и не торит?

— Торят. Есть охотники. Особенно как этой горницей обзавелась.

— Так что же?

— Ничего. Отшиваю.

— Всех?

— Ну, всех не всех...

— Не зря ли уж ты строга? Чем же не по нраву тебе?

— Который чем. Тот фертом подкатывается: Фаечка, прошвырнемся в киношку, а оттуда в твой терем-теремок. А я, говорю, прошвыриваться не умею, найди, которая этому обучена. От того забегаловкой несет. Тот — условие, детей чтобы не было, они, говорит, свяжут. Конечно, свяжут, на то и дети.

— Не связывают — и семьи нет, — поддакнула Ксения Фроловна. — А этот, вислоносый, все липнет к тебе?

— Яша Дюбин? Встречаемся.

— Ты бы и его отшила.

— Отошью. — Фая вбила последний гвоздик и, отступая, поглядела, не криво ли.— Я, тетя Ксеня, хочу, чтобы моего благоверного самодовольство не распирало, чтобы я и пожалеть его могла, глупенький, мол, пропал бы без меня.

К слову Ксения Фроловна ввернула, что, видать, какая-то пожалела ученого соседа больше, чем своя законная. Горюет Полина Семеновна: чужим-чужой стал.

— Не в примету, с другой его не видывала?

— С другой не видывала.

— Может, ты на свою жалость намекнула?

— Не намекала, тетя Ксеня. А что какой-то он бесприютный, угрюмый, это видела.

— Это и я видела, — сочувственно протянула Ксения Фроловна. — Я и саму не хвалю. Живут, как два мужика. Гонятся, кто дальше в науке уйдет. Что нам, народу больше не надо? Химию надо, а народу не надо? Он потому народом и зовется, что его народить надо. Ну, это я высоко залетела. Сказать-то одно хочу: душа ищет душевности. Вот и Сергей Леонтьевич где-то ищет. А сама догадками душу рвет, не знает, кого и повинить. Разводом грозится.

Фая молча придвинула кровать к стене, поправила кружевное покрывало на подушке. Помолчала и Ксения Фроловна, оглядела комнату. Стол появился, два стула, диван, книжный шкаф. Обыденно, спокойным тоном спросила, с доставкой, что ли, все куплено.

— С доставкой. За один раз привезли.

— Соседу-то нашему... горницу свою не показывала?

Фая вспыхнула, покраснела и вдруг обняла Ксению Фроловну и опустилась перед ней на колени.

— Тетя Ксеня, не буду тебе лгать, не могу. Был он, расставлять помогал. Я тебе все, все скажу. Любит он меня. И что разводятся, знаю.

Ксения Фроловна ошеломленно откинулась и отняла руки Фаины:

— Да ты что? Надо мной или над собой шутишь?

— Не шучу, тетя Ксеня. Давно у них врозь. И меня любит давно. Несчастный он с ней. Не думай, что я его... Если б ты слышала, как я отговаривала его, просила Полину Семеновну пожалеть. У них уж до того, что все равно ушел бы.

— Ври больше: ушел бы. Ну, огорошила! Вон ты змея какая. Отбить у живой жены... Пуд соли с тобой во щах извели, а узнала тебя только сейчас. Семью разбила, вон ты какая лиходейка.

— Напрасно ты, тетя Ксеня, — обиженно возразила Фая и встала с колен. — Я тебе от души, как матери, а ты... Отбила, разбила. Сама говоришь, нечего было разбивать. Не вползала я к ним змеей. И уж коли начистоту, люблю я его. Люблю и уважаю.

— Уважает! — негодующе хмыкнула Ксения Фроловна. — Еще бы не уважать! Степенный, непьющий. Да ведь не твой. И неровнюшка он тебе, вот я про что. Разглядишь, тут (пятерней провела по своему лицу) морщины как борозды, там (показала на темя) гуменце, хоть шаром покати...

— Разглядела. Мне, тетя Ксеня, самой третий десяток.

— Третий — не пятый. Ну ладно. Жить-то... Неужто в этой скворечне?

— Почему в этой? Уладится. К Полине Семеновне мать переезжает, дом у нее на снос. Эту, — Фая с сожалением окинула взглядом комнату — привыкла уж к ней! — горсовет возьмет. Сергею Леонтьевичу другую, сказали, в этом же районе. Так что... — Она опять обняла Ксению Фроловну, — не сердись, будешь всегда нашей дорогой гостьей.

— Ладно уж. Лисонька. — Ксения Фроловна улыбнулась нехотя и растерянно.

Разошлись супруги Тужилины тихо и для всех знакомых неожиданно. Полина Семеновна о моральном разложении тов. Тужилина С. Л. никуда не сигнализировала. С достоинством держалась она и во время судебного разбирательства, не чернила ни мужа, ни разлучницу. Узнав об этом от бойкой старушки со второго этажа, не пропускавшей ни одного суда с разводом, Ксения Фроловна похвалила соседку. Коли дерево срублено, обратно не поставишь, а и поставишь, так зеленеть не заставишь.

Зоя Демидовна, переехавшая к дочери, сначала и глядеть на Ксению Фроловну не хотела, уверенная, что это она сосводничала зятя со своей квартиранткой. Потом примирилась, что делать, если уж не поправишь, да и Полина Семеновна уверила ее, что тетя Ксеня тут ни при чем.

Согнули Зою Демидовну годы и привычка: сколько дел в огороде и по дому делаешь наклонясь! — гряды копаешь, сорняки полешь, палочки-щепочки во дворе собираешь, полы моешь, мало ли еще что. Так и вошло в привычку ходить и стоять согнувшись. Разговаривает

с кем-нибудь, сама видит собеседника только до колен. Правда, захочет посмотреть, сколько времени, встанет перед стенными часами и стоит, прикрыв глаза ладонью как козырьком и вглядываясь в циферблат. Полина Семеновна скажет ей, так, мол, и ходи, не надо горбиться, Зоя Демидовна согласится: можно и не горбиться. Подержится с полчаса навытяжку и опять согнется.

— Привычнее, доченька, так-то. Сколько я этими рученьками земельки перебрала! А что травы дурной выполола — воза! Да и земля уж к себе тянет, подь, мол, ко мне, хватит, набегалась.

К соседке Ксении Фроловне понемногу обмякла, сама стала заговаривать. Выпрямится иной раз и окажется куда выше Ксении Фроловны. К себе зазовет, выспрашивает, раньше супротивности между Полиной и Сергеем не замечала ли.

— Строгая она у меня характером, не пожалуется. Спросишь, бывало, как, Полюшка, живете? Только и ответу: «Живем». А сейчас за голову хватается: «Я так и знала!» Бываешь у этой?

— У Фаины? Заглядывала как-то. Еще одно новоселье. Гляжу, опять этот, вислоносый... Из вашей родни.

— Дюбин?

— Ну да. Около нее крутится.

— До чего ему надо, докрутится. Помяни мое слово, отольются Сергею Полинины слезы. Сама-то... барыней небось ходит? Довольна?

— Кто ее знает. Время покажет.

Фая была довольна. Вместе с мужем хлопотали с расстановкой мебели и книжных стеллажей, с развеской штор в новой просторной квартире. Уже отсюда она коротенько написала отцу о повороте в своей судьбе.

Писать письма Фая была не охотница. Петр Андреевич не удивлялся, когда молчала она и месяц, и два, и три. Значит, все идет своим чередом. Долгонько молчала и на этот раз. И вдруг восторженное письмо: папка, я замужем, поздравь. Муж — серьезный, степенный (кандидат пока), заботливый, любящий... «Ты видел его. Помнишь, прошлым летом я провожала тебя и на улице поздоровалась с одним и сказала: «Сергей Леонтьевич, вам бандероль принесли, она у Ксении Фроловны». Потом ты спросил, кто этот рябой и пожилой товарищ? Я ответила, что сосед, только, мол, какой же он рябой!

Так, оспинки. И не пожилой вовсе, а среднего возраста. К слову просветила тебя, ты, кажется, не знал, что ученые столковались тех считать пожилыми, которым от шестидесяти до семидесяти пяти. Вспомнил? Так вот и докладываю: Сергей Леонтьевич мой муж и в пожилые он попадет очень еще не скоро».

Петр Андреевич внимания тогда на эту встречу не обратил. Сосед, и ладно. И вдруг — муж Фаины. Смутила его разница в годах, старенек все-таки, хоть и не пожилой. Но — каких комбинаций в жизни не бывает! Ответил, что поздравляет, благословляет, добавил с пяток самых неотложных «цу». Однако смутное беспокойство не проходило. Черкнул Ксении Фроловне, мол, что за человек твой сосед, надежный ли, и что она думает о замужестве Фаины, не легкомысленно ли поступила. Ксения Фроловна сообщила ему самые краткие, почти что анкетные данные о Сергее Леонтьевиче, от моральных рассуждений по поводу их брачного союза воздержалась, дело это, мол, полюбовное и только их касаемое.

Не навались на Петра Андреевича столько дел по школе, часу бы не медля поехал. Комиссии, ревизии, разные чепе... Пришлось отложить. Сначала на неделю, потом еще на две, а там уж до летних каникул.

И вот Фая встречает его на вокзале, сияющая, везет в такси, небрежным жестом отводит руку шофера со сдачей.

— Полтора рубля? Это вам на сигареты.

Дома, повиснув на шее отца, шепотом признается, что счастлива, ждет ребенка. Показывает кабинет мужа, свою комнату, гардероб с платьями, каких у нее отродясь не бывало.

Приходит Сергей Леонтьевич, извиняется, что не мог встретить:

— Лето. Заочники. Готовлю археологическую экспедицию, нынче без меня поедут. Очень, очень рад познакомиться.

Пока Фая хозяйничает на кухне и собирает на стол, тесть и зять ведут разговор о погоде, о недостатках заочного обучения, о новом американском президенте, понемногу наводят мосты друг к другу.

После обеда Сергей Леонтьевич опять извиняется: у него, к сожалению, ученый совет и часика на три вынужден оставить дорогого гостя наедине с дочкой.

Когда он ушел, Фая обняла сзади отца, продолжавшего сидеть за столом.

— Понравился?

— Да. Серьезный. Конечно, в его годы...

— А я не замечаю его годы. Он так заботлив, так предупредителен, что... будто молодеет у меня на глазах.

— Молодеть, положим, это иллюзия, но... Сергей Леонтьевич держится молодцом, я бы его даже преподавателем физкультуры взял. Конечно, рядом с тобой...

— Опять ты, — недовольно перебила Фая. — В его годы... Рядом с тобой... А мне который десяток, забыл?

— Помню. Ты у меня — звезда, — похвалил он, поглаживая ее руки на своей груди. — Тебе никто столько не даст. Да, вот что я хотел спросить... Не сердись. Что другая несчастна, совесть не мучает?

— Не сержусь. Мучает, — вздохнула Фая и разжала руки. — Так жаль бедную Полину Семеновну. Училась у нее, сдавала экзамены... Кто тут виноват больше, не знаю. Оба они мучились. Сергею хотелось... ну как это тебе?.. семейного тепла, что ли. О детях думал. Полина Семеновна всю, всю себя — науке. Ее тоже не осудишь, верно? Настоящий она ученый. Академиком будет, вот увидишь. Так что — оба не виноваты. А жили — все дальше врозь. Тетя Ксеня думает, я виновата, я смутила. Ей-ей, не смущала. Жалеть — немножко жалела. И теперь жалею. Милый он, всю молодость каким-то был бесприютным. Если бы хоть Зоя Демидовна, ее мать, с ними жила! Нет, за свой домишко уцепилась. И ее не повинишь: привыкла к своему углу. Как порассудишь, — заключила Фая, похлопывая сзади отца по плечам, — никто не виноват.

— А человек несчастен, — добавил Петр Андреевич. Помолчав, спросил, давно ли видела Ксению Фроловну.

— Недавно Съезди, навести, рада будет.

Навестил. Ксения Фроловна не знала, где усадить гостя, чем попотчевать. Был он для нее живой памятью о муже, с годами даже стал казаться похожим на него.

— Поставить бы тебя рядком с моим, под одну бы мерку подошли, — говорила она, улыбаясь и смигивая слезы. — Седой стал, сугорбишься. Думала, таких орлов и старость не берет.

— Берет, Фроловна, — усмехнулся Петр Андреевич. — Всех берет.

Оглядел комнату. Ничто больше о его дочери не напоминало. На комоде, прежде заставленном ее духами, разноцветными коробочками, сейчас возвышались какие-то картонные трубы.

— Награды мои, — пояснила Ксения Фроловна, перехватив его недоумевающий взгляд. — Почетные грамоты. Гляжу, пылятся в шкафу. Дай-ка, мол, на память выставлю. Комод-то как корабель поплыл. А наполучала, когда на ткацкой верховодила. Бывало, шумлю: давай, бабоньки, давай. Фронту надо, народу надо... У меня и медальки есть. Да что я все о себе. У тебя, наверно, свое нейдет с ума.

— Нейдет, — Петр Андреевич облокотился на угол стола. — Так и этак раскидываешь, ладно ли вышло у Фаины. Завязалось-то хоть у них давно?

— Уж этого, — Ксения Фроловна в недоумении расставила руки, — знать не знаю. Уезжали мы, я к дочери, Полина Семеновна в Москву за большим чином в науке. Может, и давно друг к дружке приглядывались, а уж тут сам-то вовсе голову потерял. А твоя подобрала. С умыслом ли, нет ли, а разожгла девица-огневица стылую головню. Гадать, когда да как — теперь уж и ни к чему.

— Ни к чему, — согласился Петр Андреевич. — Супруги-то, — он кивнул в сторону квартиры Тужилиных, — мирно жили?

— Мирно — не знаю, а тихо. Думалось, так и будут голова к голове брести до самого... От какой болезни ученые-то нынче мрут? Инфаркта, что ли. Судьба по-другому рассудила. А уж к лучшему ли... — Ксения Фроловна опять развела руки. — Сам-то хороший человек, все скажут. Одно — неровнюшка Фаине.

— И я про то же. Заглянешь вперед...

— А ты не заглядывай и не пророчь, ошибиться недолго. Ладно живут?

— Вроде ладно. Рада, что дите будет.

— Он — и говорить нечего. Светится. Дите крепче загсовской бумажки связывает. Появится, больше на него будут глядеть, чем друг на дружку. И что неровнюшка он, в глаза ей бить не будет. Люди бы только поменьше злословили да бередили. Жаловалась, какую, говорит, из подруг ни встретишь, обязательно заведет: «Фаечка, поздравляю, хорошо, что пенсионера подцепила. Спокойнее. Бегать не будет. Разве уж сама убежишь».

Кольнет походя и довольна, а Фаине яд в душу. Сам-то ...й, смотри, ни словечка.

— Пожалуй, — обронил Петр Андреевич и мысленно укорил себя: тоже хорош! — «конечно, рядом с тобой...».

И все-таки когда уезжал и на перроне стояли они вдвоем последние минуты, как-то неуклюже заметил, что Сергею Леонтьевичу надо бы серьезнее подумывать о здоровье.

— Думал, проводите меня оба. И все — занят, занят... Такая работа на износ в его годы...

— Опять ты, — огорченно перебила Фая. — Знаю, что хочешь сказать: в его годы не надо было смущать молоденькую, помнить картину «Неравный брак». Неужели Сергей похож на ту рухлядь в орденах?

— Зачем ты такие выводы... Я вовсе не имел в виду... Извини.

Дома она молча легла на диван, уткнулась лицом в подушку и горько расплакалась. Думая, что эти слезы от разлуки с отцом, Сергей Леонтьевич присел рядом, погладил ее плечо.

— Мы, Фаечка, возьмем да сами к нему...

И в первый раз она раздраженно крикнула, чтобы не лез со своими нежностями.

— Фаечка... Сюсюкаешь, как с внучкой.

И тут же, словно ужаленная своей жестокостью, повернулась к нему и сквозь слезы увидела, с какой он ошеломленностью и обидой глядит на нее. Вскочила, приникла к его груди.

— Сергей, прости меня. Сережа, милый... Не знаю, что со мной.

Сергей Леонтьевич объяснял одним: в это время у женщин бывают самые неожиданные причуды и внезапные изломы настроения.

Никак не могла Фая привыкнуть и к шуточкам подруг у себя в лаборатории. Кто-нибудь обязательно съязвит мимоходом:

— Супруга-то, Фаечка, папашей зовешь?

Или:

— Поделись, Фаечка, опытом, как ты его присмолила?

Фая отшучивалась, делала вид, что их болтовня ничуточки ее не задевает. Там выдерживала, а дома опять брякнется на диван — и в слезы. Какое им до нее дело!

Больше всего расстроил Яша Дюбин. Встретила его в городском парке, возвращаясь с работы. Семенит, раскидывая носки врозь, шляпой помахивает:

— Очаровательная Фанна Петровна! Замираю от восторга. Сколько лет!

Встал перед ней, звучно сдвинул каблуки и дернулся головой так, что прямые рыжие космы на мгновение завесили его лицо. Бросив под ноги недокуренную сигарету, протянул Фае узкую, бледную, в темных веснушках руку.

— Сияет красотой, расцвела...

— Раздалась, — договорила Фая. — Чин супруги обязывает.

— Понимаю, хоть и не все законы природы вызывают у меня восторг. А моя-то почтенная тетушка! Анекдот! За степень доктора заплатить мужем. По-моему, недорого. Восхищаюсь, Фаечка, с каким изяществом ты его прибаюкала.

— Почему — прибаюкала, — с обидой возразила Фая. — Это вульгарно. Я всегда знала тебя милым и любезным, хоть несколько... Впрочем, не важно. Тебе не понять чувства, которое может... Да что там! Ты вряд ли его когда и испытывал.

— Какое? Любовь? — Яша Дюбин угрюмо надвинул шляпу на глаза. — Если бы не цепи... Помнишь, когда-то в новогодний вечер заговорили о цепях брака. Кто-то сказал: их надо в металлолом.

— Ты и сказал.

— Разве? Не помню. Если бы не эти ржавые цепи, я на коленях бы вымолил твою любовь. Еще тогда, в твою студенческую юность. Но звон цепей... Теперь ты с положением. Надеюсь, — он сдвинул шляпу на затылок и заговорил опять шутливым тоном, — наступят лучшие времена и ты не прогонишь бедного, неисправимо влюбленного от своего порога.

— Зачем же. Мы будем рады.

— Мы... Ох, это мы! На страже твой Пигмалион. Правда, не первой молодости. Подержанный.

— Циник ты. — Фая возмущенно отвернулась и пошла в обратную сторону. Он догнал ее.

— Не сердись. Это же просто каламбур. Подержанный — в смысле тетушка подержала. Теперь ты. Да и каламбур-то не мой, кто-то из наших дам пустил. Одна

все долбила: чужой кафтан не одежа, чужой муж не надежа.

— Мне-то к чему пересказывать? Пусть долбят. Какие-то глупые сравнения. Подержанный кафтан...

— Чужой кафтан,— поправил Яша.— Подержанный — это к мужу относится.

— К тебе еще больше, — отрезала Фая. — Ну что вы все! Кого ни встречу, — ах, за какого старого вышла! Ах неровня!

— И вот общественное мненье! — Яша проговорил это весело, с ораторским пафосом. — Уверен, что оно образумит тебя и ты почувствуешь... ну как бы это яснее... Внутреннюю свободу и формальность своих цепей. До лучших времен, Фаечка! — Попятившись, он вскинул руку, сделал несколько шажков боком и замельтешил серыми в клетку брюками.

Вздорный разговор, выбросить бы его из головы, забыть и весело идти, как шла до этого, чувствуя приятную грузность молодого здорового тела, вдыхая свежую прохладу процеженного густой зеленью воздуха. Фая и старалась забыть, но он словно провел в памяти саднящие царапины. Подползало ядовитое слово «подержанный». И вот общественное мненье! Откуда это? Да, из «Онегина». «Шепот, хохотня глупцов».

9

Из соседнего купе вышла женщина в очках, с крашеными, слегка поднятыми завивкой, бронзово отливавшими волосами и стала глядеть в окно. Сергей Леонтьевич, стоявший у другого окна, рассеянно оглянулся на нее и продолжал листать журнал «Семья и школа» — больше в киоске на вокзале купить было нечего. Пробегая заголовки, призывавшие родителей воспитывать в детях разные добродетели, он подумал, что надо читать, а на следующий год и выписать. Двое сорванцов растут, одному через год за парту.

Мимо проходили по коридору, задевали, скользила, извиваясь, проводница с подносом, заставленным стаканами с чаем.

Женщина с крашеными под бронзу волосами щемяще знакомым жестом поправила очки. Полина Семеновна. Пока он смятенно раздумывал, уйти ли незаметно в

свое купе или будь что будет, она оглянулась на него и, должно быть, тоже не знала, сделать ли вид, что не заметила его, или кивнуть, мол, здравствуй. Кивнула.

— В Москву? Не с докторской ли?

Делая вид, что никак не засунет журнал в грудной карман, Сергей Леонтьевич отвернулся и пробормотал о незадаче у него с докторской.

— Надо бы на раскопки... Новые данные нужны... Так и не закруглился. Еще подсекло — один защитил на эту тему.

— Это могло подсечь, — сочувственно кивнула Полина Семеновна. — Как твоя кафедра?

— Теперь не моя. Другой ведает. По конкурсу. Да это пустяки, я и в рядовых без обиды. Пользы от меня не меньше. А ты? Тоже в Москву?

— В министерство. — Полина Семеновна опять поправила очки, и было заметно, как у нее дрожат пальцы. — Дела.

— Какая-нибудь неувязка с промышленностью?

— Другое. Директором Института химии ставят.

— Поздравляю. Конечно, ответственность... А как вообще?

— Живу. Заржавела будто. Мать в прошлом году схоронила... Так что... в дом престарелых пора.

— Полно. До старости далеко, — поспешил он уверить ее. — Одеваешься со вкусом, волосы, гляжу, покрасила. Право, твои годы тебе и не дашь.

— Не влюбись, — пошутила она, не улыбаясь. — А что одеваюсь, волосы, — нельзя же в министерство седой растрепой. Работа подтягивает. Да что там! Работой только и держусь. Мыслящим агрегатом стала. Перемалываю тонны информации, нашей и зарубежной. Проекты, расчеты, докладные в министерство, в Академию наук... Да что все обо мне, — спохватилась она. — Как ты? Отец семейства?

— Двое. Мальчишки. Девочку ждем.

— Счастлив?

— Что — мальчишки? Конечно. А так... Счастлив, несчастлив... О жизни, как о погоде за год, одним словом не скажешь.

— Не скажешь, — повторила Полина Семеновна. — Бывают такие испытания... Знаю, они и тебя не обошли. Неровнюшку, как говорит тетя Ксеня. Ведь это не оста-

лось вашей семейной тайной, что бросала тебя Фаина. И ради кого! Другой бы на твоем месте... А ты простил. Я так и знала, что простишь.

Совестясь взглянуть ей в лицо, он тихо ответил, что быть добрее, мягче — наверно, самое главное между людьми.

— Конечно, можешь сказать: а сам? Разве не был жесток?

— Ко мне? — Полина Семеновна вопросительно подняла брови и качнула головой. — Это не жестокость. То, что случилось, не судьба, не чья-то злая воля. Просто этого было не миновать. Ты казнишь себя. А я? Наедине с собой и мне приходится плохо, только... в жизни нет черновиков, сразу все набело. Ничего не воротишь. — Глядя на летящее назад темное остроколье елей, на прогалы пустых осенних полей, она чуть слышно попросила не вспоминать о ней плохо. — Я ведь так любила тебя!

Рябиновая Гряда

1

Я в девках была, цыганка мне нагадала, что замуж выйду за писаря, будет он в любови ко мне постоянным и проживу я с ним долгую жизнь. Все сходится. Давненько мы живем с Митей, уж и после серебряной свадьбы десять лет прошло, только он у меня не казенные бумаги пишет, а статьи и книги. Как о нем покойный мой тятенька говаривал, на писателей критику наводит. Слово писарь цыганка по малограмотности своей не в том смысле употребила.

Митя о Кантемире пишет, о Решетникове, о Тендрякове, когда о ком. Всех статей, какие я у него на машинке перестукала, и не упомнить. Много из них и сама узнала. Образование у меня, сказать совестно, незаконченное низшее.

Неровня мы с Митей, он ученый, лекции студентам читает, а для меня решительно все науки -- лес темный. С цифрами да запятыми и то не в ладах. Многие диву даются, как это уживаемся мы, ученый с неучем. Уживаемся, и друг друга хорошо понимаем. Разве уж когда Митя особенно мудреное что скажет. Как-то говорит мне: «У тебя, Таня, гиподинамический образ жизни». Думаю, обидное что-нибудь, наобум отвечаю, смотри, мол, сам не загиподинамичничай. Объяснил, ничего, оказалось, обидного и нет.

Недаром говорится, с кем поведешься... Как-то незаметно и я приохотилась писать. Сначала — какая сегодня погода, сколько показывает градусник за окошком, потом что в голову придет. То вспомнишь давнее что-нибудь, то попросту, без писательских затей, раздумья свои изложишь. В толстых общих тетрадках пишу, пя-

тую исписываю. Митя к моему писанью равнодушен. У него свое: реализм, романтизм, генезис образа, жанровые компоненты, сюжетные ингредиенты, новации, филиации... У меня свое — наши житейские будни и заботы. Чаще всего раздумываешь, отчего это семьи у нас так легко распадаются. Поживут молодые год-два, слышишь: развелись. Детьми не обзаводятся. Нет детей, нет и семейной скрепы. Налегке разойдутся, а там — новые связи, и кто знает, прочнее ли прежней. Как-то смотрю, идут молодые из загса, он смущенно потупился, теля телей, она развеселая, глядит смело, победительно. Сразу видно: это ей не впервой.

Живем мы в большом доме, двенадцать подъездов, и с кем из молодых ни познакомишься, — он да она. Детишек, мол, надо. Усмехаются: без них спокойнее.

В пример и нас не поставишь. Три комнаты, а живем двое, Митя и я. Свекровь Дарья Михайловна с деревней расстаться не хочет; всю жизнь там прожила, в Родниках, беспомощной стала, ссугорбилась. Говорим ей, что в город надо, покойнее здесь, все готово, — противится, молит не трогать ее.

— Сама привыкла все делать, и гряды вскопать, и воды принести. К чему мне это — покойнее! Покойником-то лучше уж я здесь буду.

Сын Вася отдельно живет, в другом конце города, своей семьей. Тоже — какая семья! Одна у них единственная Люська. Сноха Аглая — мы по-свойски Аглашей ее зовем — больше детей не хочет. Чтобы шумнее было, на семью похоже, держат восторженную бородатую суку Нельму и кота Яшку, субъекта мрачного, с изгрызанными ушами и мяукающего хриплым сорванным басом. Придешь к ним под вечер, — отдыхают после работы. Аглая на кровати с Нельмой в обнимку, Вася с Яшкой на диване. Люська в школе, у нее весь год вторая смена.

Послушать Аглашу, так она с одной-то Люськой измучилась: то заболеет, то двойки у нее замельтешат в дневнике, то приметят, с каким-нибудь долгогривым хороводится — в пятнадцать-то лет! Недавно так мне и отпечатала:

— Несчастье мое эта Люська.

— Да чем же, — говорю, — несчастье?

— Не видите чем! — Аглаша до сих пор обращается ко мне на вы. — Не будь ее, давно бы я кандидатом на-

ук стала. Две подруги у меня дипломы уж получили. Оклад по три сотни.

— Бездетные?

— Еще бы с детьми! Какая с этой обузой наука.

Сноха у меня химик, лаборантка на заводе, где синтетику — нейлон, поролон — делают. Исследует она какие-то новые соединения, производит опыты, говорит, что для здоровья это вам не Сочи, но руководитель лаборатории Яков Данилович обещает посодействовать ей стать кандидатом наук.

Редкий разговор с Аглашей обойдется без этих ее жалоб, что Люська мешает ей пробиться в науку. Слушаю, а у самой неотступно — как это мы, восьмеро, у мамы росли и никогда-то она словечком не обмолвилась, что обуза мы для нее, что не будь нас, таким ли бы она человеком стала. Не до себя ей было. Честолюбивые мысли и в голову ей не приходили. Билась как птица в силках: надо было всех накормить, обшить. Отца, смолоду занятого сплавом леса, по месяцу, по два не видели. Мать одна всей нашей оравой правила, всех на ноги ставила. Купить ли что на базаре — обувку, одежку — сначала детям; каравай ли, пирог ли из печи — первые куски детям. Сама — ладно, коли и не достанется. Изо дня в день жертва, хоть это слово ей и на ум не вспадало.

Да и бывает ли материнское счастье без жертвы ради детей?

Только что была Люська, после нее, по обыкновению, остался такой беспорядок, что надо целый час прибирать: раскиданы мои кофточки, платки, туфли, бусы... Все это она примеряла и кривлялась перед зеркалом. Модница. То ей бабушка платье укороти, чтобы подколенные ямочки было видно, то под колдунью причеши, то купи ей красные брюки из крепдешина. Шепотком секретничать начнет, какой интересный мальчишка из соседнего подъезда в кино мороженым ее угощал.

— Мы и домой вместе шли, он под ручку хотел, а я не далась. Ты думаешь, я маленькая, а я мамин бюстгальтер мерила, скоро в самый раз будет.

Журю ее: в пятнадцать-то лет мальчишки у тебя на уме, бюстгальтер, подколенные ямочки... Об отметках бы за четверть позаботилась.

Плечами поведет, пощурится в зеркало.

— Нашли пугало: отметки. Двоек не наставят, учителей за них тоже ругают. Задачки спишу.

— Хорошо это?

— Будто я первая! И вообще, бабушка, хватит мне всяких цеу.

— Что за «цеу»?

— Ценные указания. В школе их вот как наслушалась. — Пальцем черкнет себя по горлу, мол, во, больше некуда.

Раздумаешься, как много семей, похожих на нашу: дед и бабушка, отец и мать, а там еще родители снохи — и одно дитя. Придет неминуемый срок, и вместо нас шестерых останется единственная Люська. Выйдет замуж, и кончится род Камышиных, даже фамилия исчезнет, некому будет ее носить. Перебираю знакомых: и Селины — выморочный род; и Корневы, и Чернавины...

От кого этот мор пошел, и не поймешь. То ли снохам нашим не до детей стало — работа у всех, трудное это дело два воза везти, их тоже надо понять. То ли сыновья наши повинны: пьют, волю и разум теряючи, из веры у жен своих вышли, кормильцем семьи редкого назовешь. На своих гляжу, Аглаша вянет до времени: легко ли, аборт за абортом. Вася со своими дружками чуть с завода — перегляд начинается, шуточки, поллитра, мол, дура: один одолеть не сумеешь, вдвоем очумеешь, а втроем — и душа обмыта, и не так начетисто, и видимость нормальная. Какое уж нормальная! Дома сегодня скандал, завтра свара... Аглаша на всю улицу голосит: выгоню, в алкогольный острог пропячу, на принудиловку.

Развода не миновать.

Сколько раз принималась я умолять Васю: брось ты пьяную ватажку свою, скрепись, не пей. Обещает, слово даст. Покрепится неделю-две, а там опять. На слово плюнет, на водку клюнет.

Разные они люди — Аглаша и Вася, никакой у них душевной близости. Чужие. Вася простодушный, добрый и безвольный, нет в нем твердой мужской основательности.

Аглаша расчетлива, себе на уме. По расчету и за Васю вышла. Гляжу, приходит с ним какая-то накудрявленная, держится настороженно, все высматривает и словно прикидывает что-то про себя. На лице Васи выражение влюбленное, глупое. «А это, говорит, невеста моя, Агла-

шей зовут, Аглаей Казимировной». — «Что же, говорю, совет да любовь». Сама с тоскливым предчувствием думаю: непростая, видать, хорошего не жди. Тогда же и показала себя Аглаша, только он ничего, ополоумевши, не замечал. Как-то вечером прибегает к нему, — зимой это было, — слышу, в прихожей воркуют. Выхожу. Вася хватается за шапку, накидывает пальто. Спрашиваю куда.

— Аглаша на «Кармен» идет, я провожу.

Та вкрадчиво подсказывает:

— И оттуда Я боюсь одна. Общежитие у нас далеко.

— Билет-то, — говорю, — Вася вряд ли купит.

— Он так подождет. В фойе не холодно.

Мой половиком ей под ноги лечь готов.

— Подожду. Ты, мама, не волнуйся.

Ушли. Васе утром на лекции — он тогда на втором курсе политехнического учился. Аглаше, видно, все равно, что ему рано вставать. В театре ее подожди, в общежитие проводи, оттуда пешком шесть километров топай — какие за полночь трамваи! Разгоревалась я, обидно за Васю, не любит его эта лиса, не уважает. И как это он своего унижения не видит, гордости в нем нет. Решила: поеду, ворочу его.

Приезжаю. Слоняется он один по фойе, делает вид, что очень ему афиши интересны.

— Дежуришь? — говорю.— Холодище-то! Озяб, чай?

— Да нет.

— Антракты-то были?

— Один.

— Выходила к тебе... барыня-то твоя?

— Не важно.

— Нет, сынок, важно.— И давай увещать его, что нельзя ради Аглашиных прихотей посмешищем делаться, что так в старину только лакеи стаивали.

Уломала, поехали. Чем ближе к дому, тем Вася насупленнее. Ладно, думаю, пусть той, бессовестной, наука будет.

Ночью проснулась — дверь отперта, Васи нет. После признался: к самому концу спектакля поспел. Я ему прямо тогда сказала:

— Дорого тебе, сынок, унижение твое обойдется. Да и мне тоже. Смотри, не одуматься ли?

Не одумался.

Весной по неделе пропускал лекции у себя в институте: сидел в библиотеке и переписывал Аглаше дипломное сочинение, чертил разные схемы.

Сессию завалил. Из института отчислили. Поступил на завод. Мне бы только сказать: твое дело, сынок, а я все это как большое горе пережила.

— Не волнуйся, мама, — утешал меня Вася. — Не всем же ученымн быть, кто-то должен и детали штамповать, без них нн одна машина не двинется. Вот я и штампую.

Часто слышу от него это «не волнуйся», а поводов для волнения все больше. То одна незадача у него, то другая, и каждая кровавым рубцом остается у меня на сердце. И все — оттого, что пить начал.

Аглаша посомневалась, выходить ли ей — с высшим образованием! — за рабочего. Расчет перевесил. Выйдет — от распределения увильнет, в городе останется. Отец у Васи человек на виду, хорошая квартира, своя «Волга»... Не нынче-завтра все это Васино будет, стало быть, ее. Вышла. Нам с Митей пришлось потесниться, одну комнату уступили молодым. Хлопоты с пропиской Аглаша взяла на себя и сделала это ловко и скоро. Приходит с домовой книгой и с наивным торжеством показывает ее нам.

— Вот и я влезла.

Если еще невестой помыкала она Васей, то теперь совсем верх взяла. Добилась, чтобы у них была отдельная квартира, чтобы Вася за город ее на отцовой «Волге» катал.

Думать Аглаша может только о себе, так уж, видно, голова у нее устроена. Даже ест тайком и в одиночку. Сидит на кухне, книжкой загородится и что-то жует, осторожно ложкой побрякивает. Отъест, книжку в сторону и сидит в одну точку уставясь. Спросишь, что ты?

— Ничего. Поела — перевариваю.

Поесть она любит. Зато любит и всякую еду впрок готовить. Летом и осенью всех родственников объедет, у которых сады. Того с шуточками без малины оставит, к тому за белым наливом подкатится, те сами расщедрятся, чем богаты. Любимое у нее выражение: обрыбиться. Приедет от тетки, сельской учительницы, спросишь, как погостила? «Хорошо. Помидорами обрыбилась».

Убедился Вася, что трезвый расчет Аглаши принял

за настоящую любовь. Ей и на нас обрыбиться надо было.

Жизнь у них все больше врозь. Люська беспризорницей между ними растет, сорвиголовой. Отца ни во что ставит, с матерью зуб за зуб. Та сделать велит что-нибудь: пол подмести или в магазин сбегать за хлебом, а эта ей срыву: «Не видишь, я уроки собираюсь учить. Музыка у меня завтра». Сядет с Нельмой за пианино и давай ее лапами по клавишам брякать.

Нерадива Люська на удивление. В комнате пыль, мусор, — подмести и не подумает. Упрекни ее в неряшестве, ответ готов: «Одна, что ли, я мусорила!» Ни постель прибрать после себя, ни чашки-ложки помыть. Уроки готовит — как бы скорее, о трудную задачу споткнется, тут же бросит: у подружки спишу. Из класса в класс — кое-как, со скрипом, с оговорками. И ведь не глупая, здоровья не занимать.

Можно подумать, в сердцах на нее наговариваю. Какие наговоры! Люблю ее, как дите свое люблю. Дите моего сына, почти что мое. Чуть затемпературит, разволнуюсь, врача скорее по телефону вызваниваю.

С детьми все время как перед бедой ходишь. На втором году нашли у Люськи, докторским слогом говоря, врожденный вывих нижних конечностей. В больнице растянули ей ножонки в стороны, заковали в гипс. Мне и довелось ее, тягу каменную, десять месяцев на руках таскать. Ей-то где помнить, а мне все памятно — сколько слез пролила да маеты приняла. Наловчилась она и сама черепашкой на гипсе перебираться, забаву даже в том находила. Привесится вниз лицом, ручонками себя закрутит и каруселит. Подползет к комнате деда, приотворит дверь: «Деда, ты писесь?» Огзовется он, мол, не пишу, иди, она дверь настежь и к нему. «Ты не сельдисся? Я сколя уйду». Карусель покажет и обратно: «Писи, месать не буду».

Теперь бы ей прежнюю деликатность.

Характер у Люськи в точности мамин. От заботы о других и эта не похудеет. Летом нынче гостила у нас в Родниках. Собираем вишни в саду. Налетела на меня пчела, вьется вкруг головы, жужжит, наровит в глаз ужалить. Ткнулась я лицом в траву, кричу: «Люсенька, отгони!» А та спокойненько: «Вот еще, я отгоню, а она меня тяпнет».

Знакомые наши говорят: красивая она у вас, а недобрая. Промолчишь, подумаешь про себя, откуда ей доброй быть? Доброта — чувство артельное. Чтобы она душу осветила, с кем-то делиться надо, кому-то помогать, кого-то жалеть. С кем Люське делиться? Кому помогать? Растет одна. Привыкла, что все — только ей: и дорогие игрушки, и обновки, и пианино... Оттого, что так легко исполняется любое ее желание, ничем не дорожит. Новые туфли с пряжками под золото валяются в прихожей — надоели.

2

Было нас у матери восьмеро — не привередничали.

Родилась я в Кузьме на Волге и первое, что помню, — неоглядное волжское половодье. Мы плывем на лодке. Мама держит меня на руках, кругом зыблется, играет солнечной рябью вода, а я гляжу на нее и удивленно тяну:

— Мокле-о...

Год или два спустя плыли мы, тоже в полую воду, к отцу, ждавшему нас где-то на Большой Кокшаге. На веслах сидели чернобородый плотовщик в малахае, посланный за нами отцом, и старший из моих братьев Сергей. На Кокшаге мы заблудились: разлилась она так, что затопила лес и ни в одну сторону берега было не видно. Кругом вода, белеют березы, гнутся по течению пушистые вербы. Плотовщик встревожился, сорвал с головы малахай, бросил в лодку и заголосил как леший в сложенные трубой ладони: «Астафьи-и-ч!» Умолкнут словно толчками разносившиеся отголоски его зычного рева, и опять тихо, только вода шипит и о чем-то шепчется с кустами да какая-то пичуга настойчиво допытывается: «чего-чего-чего-о вы». И опять плывем наугад в одну сторону, в другую... В чаще лозняка вдруг заботало что-то. Показалась комолая горбоносая голова лося. Вода была ему по грудь. Глядел он жалобно, видно, отчаялся добраться до берега. Фыркнул, будто вздохнул, и попятился, дал нам дорогу.

В лесу делалось уже сумеречно. Плотовщик все трубил в сложенные ладони, охрип. Поднялся Сергей. В лесную глубину ринулся его низкий густой голос: «Тятенька-а!» Откуда-то из-за тридевять земель сквозь шо-

рох и плеск воды послышался тонкий долгий ответный крик.

Помню, как всей нашей ребячьей ватагой ездили в заволжский бор по грибы. Набрали корзины с верхом, подошли к берегу. Надо ждать лодку, тятенька обещал приехать. Ребята наломали веток ольшаника, прикрыли корзины, и пошла на лугу веселая возня. Который-то из братьев подхватил меня на руки, тайком отнес за кусты и крикнул, чтобы искали Танюшку. Я знаю, что надо молчать. Где-то перекликаются, зовут меня, а я стою в траве и с изумлением оглядываюсь кругом. Трава и цветы выше моей головы, а надо мной бездонное голубое небо, и оттуда будто звонкими брызгами сыплется песня жаворонка.

Мама любила меня повязывать платочком под узелок. Ребята сначала подшучивали, настоящая, мол, кукла, а потом серьезно, даже с испугом в глазах говорили, что если бы не этот платок, лежать бы мне камушком на дне Волги.

Верно, чуть я не утонула. Приехали мы к отцу проститься: он угонял плоты на низа. В кошевой у него расселись за столом. Я под шумок вышла. На плотовщиков поглядела, как они на толстой железке с ворота величиной костер развели, в котле уху варили. Потом на свою лодку забралась. Посидела, и, наверно, скучно стало одной. Полезла обратно, лодка подалась назад, и я между ней и плотом юркнула в воду. Тут бы и кануть мне на дно камушком, да один из плотовщиков увидал, за мной кинулся. После рассказывал, девчушка, говорит, в белом платке под узелок покачивается в воде вверх лицом, уж и не трепыхается, тонет, сейчас под плот — и каюк. Изловчился, ухватил за концы платка и вымахнул с ней. Другие с плота подхватили.

Очнулась я, все около меня сгрудились, мама плачет от радости, что раздышалась я, себя за недоглядку клянет.

Во всех моих детских и девических воспоминаниях — мама, братья и Волга. Как помнить себя начала, Волга постоянно перед глазами, особенно с того времени, когда отец купил просторную кошевую и поставил ее на Рябиновой Гряде. Полюбилось ему это место. Широкий пригорок над Волгой, за ним вздыбилась горная круча с тропинкой, взбегающей между кустов орешника к раз-

валинам барского дома и деревушке Нерядово. Осенью по пригорку там и тут краснели рябины; много их жалось к небольшому озерку у самой горы, будто глядились в него и дивились своей яркой красе. Не иначе как по их обилию и место Рябиновой Грядой назвали.

Вниз по реке, в двух десятках шагов от нашего дома, вытянулись приземистые склады, на их тесовых крышах большими черными буквами выведены названия ведомств, которым они принадлежали: «Татлестрест», «Чувлестрест», «Марлестрест», еще какой-то лестрест. Выше, по пригорку, дома заведующих складами и, ближе к нам, избушка сторожа дяди Стигнея.

В первую же весну мы обвели частоколом вдоль пригорка участок, накопали гряд и насадили моркови, луку, капусты, чтобы осенью не ездить за всем этим в Кряжовск на базар. На дворе закудахтали куры. Ребята обзавелись удочками и целые дни закидывали их с лодок и завозней, всегда стоявших напротив складов. У нас были свои две лодки, одна стояла на случай, если понадобится маме или кому из братьев поехать в Кряжовск, на другой отец каждое утро уезжал на ту сторону: он ведал тогда вязкой плотов на Кокшаге.

Видится мне Волга и тихой, светлой, ласково перебирающей камешки на приплеске, и бурной, иссиня-черной, сердито взметывающей высокие с белыми гривами волны, и спящей подо льдом, прикутанным снегом, и разбуженной вешним теплом, громоздящей на берегу крепости и шатры из толстых голубых льдин. Сколько радости было нам от нее весь год! Зимой с пригорка чуть не до середины реки докатывались на салазках. Весной, в большой разлив, прямо с крыльца ловили наметкой рыбу, зацепляли баграми бревна от разбитых плотов. Летом прошлепает колесами пароход, нам первое удовольствие на волнах покачаться.

Волгу видно было у нас отовсюду. С сеновала, где спали мы лето и осень, пока мороз не сгонит; из-за стола, за которым и обедали и уроки учили; с печи, куда забирались и большие и мелкота, ежели кому занедужится. Частенько там отлеживалась мама от головных болей, мучивших ее смолоду. Пристроится лицом к проталу между стеной и трубой, глядит в кухонное окошко на Волгу и болезненным голосом командует, кому что делать.

— Миша, курчонок подь покорми... Танюша, огурцы полей. Сергею скажите, в Кряжовск бы за пшеном да солью съездил.

Что ни делаешь, Волга весь день перед глазами. И ночью — лежишь на сеновале, подобьешь старый пиджак в изголовье покруче и глядишь на нее в открытую дверцу. Ни огонька на реке, ни всплеска весел. И вдруг напряженным слухом улавливаешь где-то далеко возникший ровный, заметно нарастающий шум. Пароход. Уже различаешь хлопанье плиц, и вот он — сказочный дворец — проходит, горя огнями и отсвечиваясь в потревоженной, черной, как смола, воде. Пройдет, умолкнет шум, а ты глядишь в темноту, воображаешь этот дворец, залитый светом, людей, расхаживающих по его палубам, и думаешь, наверно, счастливее их нет никого на свете.

И засыпаешь под рокот поднятой им волны.

3

В трудные годы подымалась на ноги наша орава. Сначала первая война с германцем, потом гражданская. Колчак немного до наших мест не дошел.

Разруха, голод.

Как только не изворачивалась мама, чтобы нас накормить, мы все равно постоянно хотели есть. Отец привезет мешок муки и опять надолго уедет по делам. Семья мамой держалась, терпением ее великим.

В то время, когда замшелые старухи даже садились за букварь и с молитвенной истовостью выводили: «Мы не ра-бы, ра-бы не мы», мама осталась неграмотной. Вечно в хлопотах, не удосужилась грамоте и от нас выучиться. Других в Советы выбирали, на важные должности ставили, мама оставалась на своей единственной должности — материнской.

Должность, долг... Долг перед детьми. Но кто знает, кем они будут, протянут ли они матери кусок хлеба, когда обессилеют ее рученьки, уходятся ее ноженьки? В любой должности положена плата, в материнской ничего не положено, кроме зыбкой надежды.

Иногда за обедом оглядит нас, улыбнется и скажет:

— Состарюсь, позабудете.

Расшумимся, наперебой уверять начнем, что не забу-

дем. И чего-чего не наобещаем ей. Будто и сейчас слышу:

— Я разбогатею, белым хлебом тебя буду кормить.

— Я новый дом тебе выстрою. Каменный.

— А я тебя на пароходе буду катать.

Шло время, и все наши посулы забылись. Наверно, и я чем-то бедную маму обнадеживала.

Я у нее моленая была. Семеро до меня родились, и все ребятишки. После сказывала, что когда затяжелела мной, так частенько маливалась: «Господи, девчушку бы мне, помога бы по дому была, прибраться, постирать, пошить, от парнишек, сам видишь, какой толк». Меня и вымолила. За мной опять ребятишки пошли, между ними только еще одна девочка вклинилась — Проня.

Кроме нас восьмерых, шестеро в малолетстве поумирали, иные до году не доживши. И каждого мама так горько оплакивала, словно он был у нее единственным.

В голодном двадцать первом году истаял шестилетний Санечка. Худенький, большеглазый. Слезет с постели, так его и шатает. Возьмет ложку, ставец, усядется за стол и делает вид, будто ест. Оближет сухую ложку, опять подойдет к постели, но влезть уж не может. Чуть слышно прошелестит:

— Тань, подсади.

Раздобудет мама немножко молока, не знает, как и делить: и Санечку бы подкормить надо, и семимесячная Проня в зыбке истошным криком исходит, есть просит.

Летом целые дни мы только и заняты были, что искали, чего бы поесть. Ловили рыбу, выдирали улиток из раковин, ездили за Волгу по грибы, лазили в гору и тайком рвали на нерядовском поле горох. Кто что добудет, несли домой: мама готовила еду для всех. Первому давали Санечке, но он отворачивался и тоненько просил: «Хлебца».

А мы могли есть решительно все: и ягоды, и травы, и коренья,— если только они были не ядовитые и не очень горькие.

Росли мы, словно цепляясь друг за друга, и всегда были друг другу нужны Старшие нянчили младших, качали в зыбке, потом приглядывали за ними на воле, за баловство давали подзатыльники. Младшие донашивали обувку и одежку старших, перенимали от них рыболов-

ные хитрости, уменье плавать, грести... Читать и писать младшие выучивались года за два или за три до школы. Ваня постиг грамоту, заглядывая в букварь и в тетрадку Сергея, Миша незаметно усвоил и чтение и письмо от Вани... Так колесом и пошло вплоть до Вити, самого последнего из нас.

Мне пяти лет не было, когда я попала в науку к Пане. Четырьмя годами старше меня, он чувствовал себя большим, держался строго со мной и называл только по фамилии. Приведет меня на берег, начертит на песке буквы:

— Учи, Залесова. Это — а, это — б...

Сотрет ногой, опять выведет букву:

— Какая?

Не помню. Молчу. Паня свирепеет:

— Чехоня! Кряхтило! Двойка тебе. Иди в угол.

Углом были у нас кусты. Зайду в них, стою и плачу от обиды и от сознания, что я глупая и ничего не могу запомнить. Ожидая, пока я выревусь, Паня рисует на песке цифры, новые мученья готовит мне.

Но как радовались мы оба, когда, наплакавшись в кустах, я сразу выучивала и буквы, и цифры и сама начинала выводить их пальчиком на песке.

Оттого, что росли мы ватагой, не было среди нас ни лгунов, ни воришек, ни жадюг. В привычку вошло всем делиться друг с другом. Любимчиков у мамы не было, поэтому и зависти не было, и взаимной вражды.

Хорошее в характере или привычках одного незаметно передавалось и другим. Сергей любил петь — и постепенно вся наша семья стала певучей. На что Володька рыжий, ни слуха, ни голоса, и тот на лодке ли едет, по лесу ли бродит знай «Дуню-тонкопряху» горланит или «Хаз-Булата».

Миша любил всякую живность. Идет в Кряжовске по улице, к нему обязательно пять или шесть собак сбежится, ластятся, вперед забегают, в глаза ему глядят. Мы тоже пристрастились к собакам, кошкам, стали жалеть все живое.

Мне лет семь. Втроем — Паня, Володька и я — сидим под навесом склада над мышиным гнездом. В ямке, выстланной пухом, лежат на спинках мышата и спят. Лапки закинуты за голову, на крошечных розовых мордочках безмятежное блаженство. Мы глядим как завороженные, не смеем ни шепнуть, ни дохнуть. Вдруг между

нами пролезла кошка Муська, мы не успели даже подумать, что может произойти. В одно мгновение она ткнулась в гнездо мордой, послышалось довольное урчанье, и гнездо тут же опустело. Как возмутились мы ее жестокостью! И корили ее, и за уши трепали, не будь, мол, таким зверем. Если бы она не была брюхатой, еще бы крепче досталось.

Когда она окотилась, Паня устроил котятам лежанку за печкой, и мы то и дело подбегали глядеть на четыре пушистых, слепо барахтающихся беспомощных комочка. С неохотой поехали в тот день за Волгу по грибы и землянику. В лесу переговаривались, как их назовем, жалели только, что не догадались разглядеть, которые из них коты, которые кошки.

Воротились — лежанка пуста. Муська с тоскливым мяуканьем глядит на нас, будто просит найти ее детей. Пристаем к маме: где котятки?

— Выбросила,— говорит.— Нам и Муськи хватит.

Со слезами донимаем ее: куда выбросила?

— Зарыла где-то. Вроде за ближним складом. Не помню.

Бежим искать. Мусор везде, щепки, разве отыщешь. Тормошим дядю Стигнея, не видел ли, где мама котят зарыла.

— Марья-то Ондреевна? Сказывать не велела. Да уж ладно, все одно дохлые. Вон, где якорь торчит, им тут и карачун пришел.

Кидаемся вниз по пригорку к якорю. Земля в одном месте немного взрыта. Валимся на колени, разрываем ее, задевая пальцами друг друга и сталкиваясь головами. Вот и знакомые пушистые комочки. Выхватываем их из ямки, дышим в их слепые мордочки. Чудо!— зашевелился и пискнул у Пани, потом у меня. Все четверо воскресли. Потихоньку отнесли их на сеновал и там уложили в старом чемодане без крышки. Володька притащил кошку. Не успел влезть по лестнице, как она метнулась у него из рук и прямо к чемодану. Учуяла. Умиленно зажмурилась, когда детеныши уткнулись ей в живот.

— Мама,— шепчет Володька,— улыбается.

Я не вижу из-за его головы, как она улыбается, и плачущим голосом прошу, чтобы посторонился. Он дергает плечом и шипит:

— Ты, что ли, за ней бегала?

— Она бы сама пришла. Навалился... рыжий с грыжей.

Мне уступают место Паня и совсем еще маленький Витюшка.

Тайну мы хранили ревниво, лазили на сеновал по одному, лестницу после отставляли в подволоке.

Котята подрастали и делались такими красивыми, словно сбежали с какой-нибудь картинки. Один — черный, мордочка снизу и брюшко белые — ловко стоял на задних лапках, когда чесали у него за ушами. Паня, самый образованный из нас, учивший уже географию всех частей света, называл его пингвином. Другие котята пестрые, и каждый со своей причудой. С шумом носились они по сеновалу, заглядывали с балки вниз, во двор, и все опаснее было, что мама увидит их. Во второй раз она их не зароет, но нагоняя нам не миновать.

Не знаем, что с ними и делать.

— В Кряжовск отвезу и продам,— решил Паня.— Завтра базар. Сколько-нибудь дадут.

Володька вызвался отвезти его на лодке. Поехала и я; мне до слез жаль было расставаться с котятами и хотелось быть с ними до последней минуты, увидеть, в чьи руки они попадут.

И вот мы ходим по базару, два котенка у Пани на руках, два выставили умные недоумевающие мордочки из его карманов. Володька, будто чужой, подходит, торгуется, потом седой кудрявый мужик посмеиваясь взял у Пани котенка; мордовка с лубяным пещером за спиной выбрала того самого, который умел стоять на задних лапках и был похож на пингвина. Я едва видела сквозь слезы, как чужие люди уносят одного за другим наших котят. Последнего взяла баба в цветастом платке и сунула своему босому и в малахае зареванному парнишке: тот одолел, чтобы купила ему киску.

Когда мы опять сели в лодку, на коленях у Володьки оказался каравай ржаного хлеба — это Паня огоревал на вырученные деньги. Хотелось есть, время было голодное, но меня и хлеб не обрадовал. Кажется, дня бы три кусочка в рот не взяла, только бы воротить наших веселых пушистых зверюшек.

И подивилась же мама, когда мы рассказывали ей, на какие деньги купили этот каравай. Похвалила нас:

— Такими и будьте: жалостливыми.

Тем же летом за Волгой, когда усталые брели с корзинами грибов к берегу, нечаянно наткнулись на зайчонка. Маленький, совсем еще несмышленый, он выскочил прямо перед нами на тропинку и оцепенел. Уши вдвое длиннее мордочки, стрижет ими от испуга и, видно, поглядеть охота на нас. Володька свистнул в два пальца, поставил корзину и кинулся к зайчонку. Тот прижался к земле, наверно ошеломленный его разбойным свистом.

Все мы подержали зайчонка на руках, погладили. Уговорились, что будем растить его, кормить морковкой.

— Станет большой, зарежем и съедим,— сказал Володька, самый практичный из нас.— Мех — на шапку мне: я поймал.

Зайчонок был в эту минуту у меня. Я отшатнулась с ним от Володьки.

— Может, живьем съешь? Как бы не на шапку тебе. Подрастет и выпустим. У него свои зайчонки родятся.

— Процесс линьки наблюдать будем,— рассудительно поддержал меня Паня. Он часто ошарашивал нас непонятными словами, чтобы мы чувствовали, на какой он умственной высоте стоит по сравнению с нами.

До самого берега шли и спорили, какое дать имя найденышу. Володька хотел назвать Ушастиком, Паня каким-то Керзоном, я доказывала, что лучше всего — Пушок.

— Пощупайте! Пушок, пушинка.

Переспорила. Согласились.

Дома смастерили и для него клетку из прутьев, пол устлали травкой. Чтобы Муська не надумала съесть Пушка,— мы еще не забыли, как она хамкнула беззащитных мышат,— Паня поставил ее перед клеткой и погрозил лютыми казнями, если она не сдержит своего зверского инстинкта.

— Аппетита,— перевел мне Володька.

На другое утро клетка оказалась пустой, два прутика перегрыз кто-то. Ясно, что не Пушок, где ему, такому недоноску, с прутьями сладить. Володька попробовал зубами их крепость и уверенно сказал, что это Муськина работа.

— Она слопала, больше некому.

— Может, крыса?— попыталась я вступиться за Муську.— Прибежала со склада и утащила.

Мои доводы даже Витюшка признал несостоятельными. Муську опять поставили перед клеткой. Паня для ясности начертил пальцами на полу фигуру зайчонка.

— Казнись, хищница!— Он ухватил ее за ухо двумя пальцами и начал трясти, словно звонил в колокольчик.

Я затопала и со слезами закричала, чтобы не терзал Муську.

— Не трепай за ухи, не она это.

И верно: пошла мама баню топить, гляжу, машет мне и знаки делает, чтоб я тише подходила. За баней, среди лопухов, сидит наш Пушок, моргает розовыми глазами, вот, мол, как я ловко спрятался.

Прожил он у нас с месяц и стал вовсе ручным. Клетку мы изломали. Бегал Пушок где ему вздумается, спал вместе с нами на полу. Пригреется между мной и Володькой и посапывает.

Как-то уговорились, что завтра увезем его на тот берег и отпустим. Процесса линьки решили не ждать: Паня учится, наблюдать ему некогда, а Пушку надо еще до зимы своих отыскать, к лесу привыкнуть.

Проснулась я всех раньше, хочу погладить его, шепотком попричитать, что мы сегодня расстанемся. Пушок уткнулся головой под бок Володьке, длинные задние лапы вытянул, лежит — не шелохнется. Трясу Володьку, ну-ка, мол, рыжий хряк, навалился. Вытаскиваю Пушка, у него и уши повисли, глаза тусклые, мертвые. Уж тут я не шепотом, в голос запричитала, всех на ноги подняла. Витюшка драться налетел на Володьку, хоть тот вдвое и старше его и рослее. Мама вмешалась в перепалку, зря, мол, содомитесь: сонный вроде младенца, какой с него спрос.

Все жалели Пушка. Уложили мы его в картонную коробку и зарыли на возвышеньице за нашим огородом, которое с тех пор и стали звать Заячьей горкой.

4

Жили мы на отшибе, но разве могло миновать и нас то бурное тревожное время. Вдруг на Гряде всполошно и как-то выжидательно заговорили, что сшибли царя и его место захватили какие-то временные. Ждали, вот-вот кончится война с германцем и легче будет жить. Война не кончалась, житье легче не делалось. Вихрем вор-

валось известие — в Питере восстание, идет настоящая революция, переворот всей жизни: большевики встали у власти, Ленин. На Волге все — пароходы, баржи, пристани — стало народным, советским.

Новости, слухи ветром бились в окна нашего дома. Слышим, не хотят прежние хозяева сдаваться, поджигают склады, калечат суда, ежели, мол, не наше, пусть никому не достанется. Тятенька рассказывал, какой оставили после себя разор его бывшие хозяева, лесные промышленники братья Губины.

— Лесопилка — агромаднейшая была!— дымом пустили. На что топоры, пилы, так и те холуям своим приказали в проруби покидать. Пять водяных мельниц было — ни одного постава не уцелело. Добра сгубили...— Тятенька горестно махнул рукой.

Мама возмущалась, как это мужики управы на них, разбойников, не нашли.

— Связали бы их да в острог.

— Видать, не спахнулись. А теперь — лови вчерашний дым. В бегах. К своим дали ходу, в буржуйские земли.

Самым дошлым в политике был у нас Сергей. Первым из моих братьев он стал жить отдельно, поступил на службу в Кряжовске. Домой заявлялся только по праздникам. Придет, с шумом снимет куртку из черной потрескавшейся кожи, на угол с иконами даже не взглянет. Мама всплескивала руками, называла его безбожником.

— Велика ли натуга рукой крест-накрест махнуть!

— Не велика,— баском, со снисходительной улыбкой отвечал Сергей.— Я, мамаша, по моей партийности, религию отвергаю принципиально. Согласно диалектике, это опиум.

Притерпевшись к Сергею, мама потом и на нас махнула рукой: хотите в аду на крючьях висеть, не молитесь, дело ваше. Видно, и у самой вера в эти крючья была не очень тверда. То ли есть они, то ли нет, кто знает, никому оттуда ворочаться не доводилось.

Отец — другое дело. Сергея он тоже не принуждал молиться, когда тот входил или садился обедать Примирился: отрезанный ломоть. Но стоило кому-нибудь из нас прошмыгнуть за стол, не отмахав пятка поклонов, отец брякал кулаком об стол:

— Куда с некрещеным лбом! Окстись иди.

Нехотя лезем, кстимся, истово шепчем: «Господи, исусе христе...» Тятя, чего доброго, поглядит из-под сивых бровей да еще и ложкой отпечатает по лбу. Правда, от деревянной ложки было не столько боли, сколько обиды и звону, но все-таки...

За столом у нас делалось заметно просторнее. Вторым после Сергея стал жить сам по себе Иван. Работать приткнулся неподалеку, в затоне, такелажем ведать.

На всю неделю уходили учиться в Кряжовск погодки Миша и Паня. Ютились у какой-то старухи, перебивались с хлеба на воду и каждую субботу после уроков бежали домой, на Рябиновую Гряду.

Среди зимы памятного голодного года родилась Проня. Только встала мама на ноги после родов, опять заметалась,— надо было нас чем-то кормить. Отец уехал по делам в Сызрань и пропал: два месяца от него никакой вести. Я качаю ногой зыбку и читаю вслух повесть про удалого Аммалат-бека. Мои слушатели — Володька и Витя — сидят на перекладине между ножками стола. Рыжая голова Володьки на белой скатерти похожа на подсолнух. Слушают они полуоткрыв рты и не сводя с меня глаз.

Сегодня суббота, придут Миша и Паня, а мама только и смогла наскрести муки на одну натирушку. Утром мы ее съели с пустой похлебкой, и больше у нас ни крошки. Мама порылась в сундуке, вынула свой черный кружевной платок с зубчатыми краями, кофту, шитую красным стеклярусом, еще что-то, завязала все в узел и понесла на гору, в Нерядово, не удастся ли обменять на хлеб. Мне наказала подомовничать.

В сенях слышатся голоса, падает что-то тяжелое. С треском отдирается примерзшая дверь, и входит тятенька. Он улыбается, на ходу смахивает иней с бровей и усов. Я бросаюсь к нему, тычусь лицом в его бороду, бряцающую сосульками, и меня обдает ледяной свежестью. С тех пор мне все кажется, что крепкий мороз пахнет тятенькиной бородой.

Володька и Витя тормошат меня с обеих сторон, им тоже не терпится обнять отца.

— Ну-ну, идиге,— зовет их тятенька и одной рукой прижимает к себе обоих, а другой откидывает полог у зыбки. Проня родилась без него, и он не знает еще, мальчик это или девочка. Я спешу сказать, что девочка

и назвали Прасковьей. Он хвалит имя, наскоро выспрашивает, как тут жили без него, где мать. Спохватывается:— А я, брат Танюха, муки привез. Два мешка. С кряжовским знакомым приехал. Пойти расплатиться.

Мама воротилась с тем же узелком в руке,— даже картошки никто не дал за ее наряды. И вдруг — в сенях мука, отец приехал. Расплакалась от радости, припала к нему, узелок выронила.

— Постой, Маня,— отстраняет ее тятенька.— В баньке бы мне сперва ополоснуться: вошь заела.

Пока мы с мамой топили баню, пришли Павел и Миша. Вечером был у нас пир: чай с сахаром и досыта белые пресные лепешки.

На другой день тятеньку забил озноб. Думали, простудился дорогой, полежит на печи и пройдет. Не проходило. Из озноба кидало в жар, опять знобило. Когда Миша и Паня собрались уходить и подошли к тятеньке проститься, он беспамятно бредил. Пугал кого-то «зелеными», как тогда звали дезертиров.

— Гони, ограбят... убьют.

Миша от порога пообещал маме, что они сегодня же скажут Сергею.

— В Кряжовске он фигура. Депутат. Может, доктора привезет.

Привез. Доктор, сухонький, вежливый старичок, потрогал тятеньку за руку, послушал в трубочку, как он дышит, и кротко сказал, что у больного обыкновенный сыпняк.

— В больницу бы, но — все забито.

Слово «сыпняк» ошеломило маму. Тиф. С отчаянием в голосе она спросила, нет ли каких порошков от него. Доктор уже оделся. Устало и печально объяснил маме, что радикальных средств лечения тифа медицина дать в настоящее время не в состоянии.

— Самозащита организма. Изолировать от окружающих лиц.

Слово «изолировать» я не поняла, но кто это окружающие лица, догадалась: я, Володька и Витя. Проня не в счет: ей в зыбке бояться нечего.

Тятенька был в памяти. Сергей с минуту посидел у его постели, сказал, что еще как-нибудь выкроит время и приедет. Маме посочувствовал какими-то умственными словами, вроде — трудная эпоха, надо выстоять...

— Ладно уж,— отмахнулась мама.— Нашел место митинговать.

Вскоре слегла и она. Потом свернуло Володьку, за ним и меня. В середине недели Миша привел из Кряжовска Паню, совсем больного, с сыпью на руках.

Очнешься — по избе оханье, стон: из чулана тятенькино дыхание слышится, короткое, запаленное, будто воз везет; на лавке Павел бредит; мы на полу, кто на чем разметались. Мама возле зыбки голову перекатывает по старой шубенке, бредит, кому-то велит за отцом на Кокшагу ехать. Только Проня да Миша не поддавались хвори.

Чуть свет Миша ставил самовар, топил печь и варил похлебку. Поглядит на ходики и начинает кормить нас и поить чаем. Завозится Проня, пеленки ей сменит, в положенный час тащит ее из зыбки и кладет рядом с мамой. Даже в беспамятстве мама очнется на мгновение, даст ей грудь и тут же откинется, истомленная жаром, не помнит, что за серьга у нее сбоку висит.

Как заболел первым, так и первым оклемался тятенька. Вышел он в переднюю, без ветру его шатает, а голова белым-бела, будто он ей в мешок с крупчаткой ткнулся. Потом мы с Володькой расшевелились, мама на поправку пошла. В тот день, как стала она к печке прислоняться, ухватами легонько погремливать, Миша слег. Будто решил, что теперь и без него не пропадем. Болел он особенно тяжело, в бреду вскакивал, бормотал, что кого-то надо спасать. Мы видели, что спасать его надо самого, и готовы были, кажется, самое невозможное сделать, чтобы только он выздоровел. В семье у нас никогда не говорили о любви друг к другу — она была как воздух, которым мы дышали, как сама жизнь. Бывало, что и ссорились мы, и язвили друг друга колючими прозвищами, но случись с кем из нас беда, все спешили выручить, помочь.

Выздоравливал Миша дольше всех. С той болезни и надломилось в нем что-то, хлипким стал. Погода разненастится, налетит северяк,— нам нипочем, а к нему либо кашель привяжется, либо испанка прилипнет.

Долго поминали у нас этот год с голодом и повальным сыпняком. Обошелся он без потерь: отделались тятенькиной сединой.

— Готовое на всех не накупишься,— говаривала мама и рубахи, штаны даже на взрослых сыновей шила сама. Меня научила кроить и сметывать на живушку, но машинку долго не доверяла мне: берегла. И ни-ни, чтобы кто-нибудь из нас крутнул ее баловства ради.

— Такую нынче не купишь,— внушала она.— «Зингер». На ней и любую строчку выведешь, и края она тебе загнет, и петли обмечет. Вон у нее сколько лапок!

То, что у нее есть лапки, делало ее в наших глазах почти живой.

Старшие вырастали из рубашек, сшитых на ней, младшие донашивали их, залатанные, в чернильных пятнах. Мои платьишки донашивала Проня.

Мягко и ровно стучит машинка под маминой рукой: Витя сидит на полу и прилаживает деревянные коньки: скоро зима. Проня давно уже ходит, уточкой переваливается по избе за нашей старенькой Муськой. Володька учится, бегает на гору, в нерядовское начальное. Тятенька в отъезде.

Я вяжу варежки Володьке и слушаю неторопливый, часто прерывающийся рассказ мамы, как она жила в девичестве, как ходила с матерью на Святое озеро и слушала, не донесется ли с его дна перезвон китежских колоколов.

— Матушка богобоязненная была. Встанет молиться и меня с братцем поставит перед собой. У всех лестовки... Отбиваем поклоны, а когда надоест, приступочек-другой прошмыгнешь. Вот как-то братец углядел и пожалуйся матушке: «Манька через две приступки скачет». Матушка хрясь меня лестовкой по голове: «Не обманывай бога!» Скрепилась я, не заревела, но такой непереносной показалась мне эта обида! Думаю, никто не любит меня, мать родная ни за что ни про что хлещет. Только, мол, и остается уйти и ходить странницей,— много их у нас перебывало, и всего мы от них наслушались. Об озере Таир любили они сказывать, будто красоты оно невиданной, а посередке остров стоит и на острове том монастырь, лесом густым окруженный. А лес это непростой. Войдет в него неправедный человек, обыкновенные дерева видит, войдет праведный — и в райские кущи погружается. И я погружусь, потому что я праведь-

ная. Тайком собралась, кусок хлеба в котомку сунула, свечку вощаную и куклу — семилетняя, какой разум! Выждала, когда матушка в лавке за стойку встала — мы тогда лавку держали, хлеб, соль, мед, кто что возьмет,— мысленно батюшке в ноги, прости, мол, меня, дочь свою разнесчастную, и огородом да через поле к лесу ударилась. Бегу, не оглядываюсь. В лесу дорогу нашла, иду. Смеркаться стало. Дошла до оврага, над ним дубы до самых облаков, внизу орешник, и такая тьма, вот-вот из нее чудище какое покажется. Я да бегом назад. Поле уж затемно перебежала. Юркнула в нашу сенницу, забилась в угол. Нет, думаю, в кущи не пойду, страшно, лучше здесь умру, все одно попаду в рай. Съем кусок хлеба и помирать начну. Слышу, матушка меня у двора кличет: «Манюшка!» Жалко мне ее, а сижу, не двигаюсь, укорами себя растравляю. Бога я обманула! Он, может, и не заметил бы, а ты... Батюшка с фонарем идет. И нашел меня. Ведет домой, матушка так и кинулась ко мне, плачет от радости. Отец выпытывает, что это я прятаться вздумала. Я и бормотни, ежели, мол, будет матушка лестовкой ни за что хряскать, совсем убегу, на Таир-озеро. Тихий был у меня отец, матушки побаивался, а тут за шлык ее ухватил и давай полоскать. С тех пор, когда молились, меня рядом с собой ставил, а матушка мне хоть бы раз пригрозила чем. Дело давнее, обоих мать сыра-земля обняла. Поди, и могилки заросли. Съездить бы, да в делах засуматошилась. А места у нас — глазам не наглядеться, сердцу не нарадоваться. Леса хоромные, конца-краю нет, луга — по пояс травные, озера полные, долы зеленые... А людские обычаи старинные, только нынче и там, поди, все по-новому.

Нравится мне, когда мама вот так, неспешко, рассказывает про старое, про былое. Спрашиваю, какие же там были особенные обычаи.

Мама внимательно следит за строчкой и отвечает не сразу.

— Хоть выданье взять. Замуж девке пора, а парни не заглядываются, свахи мешкают.

— Вековухой и останется,— подсказываю я,— дело известное.

— Известное, да девке не лестное,— складно возражает мама.— Так что делали? Велит ей отец обрядиться покрасовитее, в шелковье, посадит в телегу и везет в од-

но село, в другое. Улицы выбирает людные, площади базарные, сам покрикивает: «Поспела, поспела!» Девка, стало быть, замуж поспела.

— И тебя возили?— спрашивает Витя, а сам топает по избе в коньках, примеривается, как в них на лед выйдет.

— Бог миловал,— улыбается мама.— Округ меня женихи роем шумели, тот на рысаке под голубой сеткой подкатит, тот перед нашим домом чурилится — серебро нищим мечет, дивуйтесь, мол, какой я мильёнщик, и счастью своему не супротивьтесь.

— И тятенька чурилился?— опять вмешивается Витя.

— И тятенька не в лаптях клинья под меня подбивал. Барином придет, бывало. Батюшка мой по имени-отчеству его. Как же! Подрядчик по сплавному делу, лицо важное. Мы хоть не зря богато жили, а в достатке. В лавку заявится, я за стойкой, спрошу, чего отпустить прикажет. Помнется, дескать, так, приглядываюсь. Тогда скажи кто, что и он в женихи насыкается, посмеялась бы. Хорош жених: бородатый, годами чуть моему отцу не ровня. Заходит, и ладно, иной раз вместе со мной нищих поспрашивает, из каких мест, что за нужда гонит. От нищих да странных людей отбою не было. С самого утра чередятся. Тот погорелец, борода опаленная, рукава по локоть обгорелые,— как не подать! Та с шелудивым дитем на руках, говорили, что нищенки нарочно морят младенцев и калечат, из жалости, дескать, щедрее подавать будут. Одна, помню, божится, что дите дома осталось, недужное. Вывалила из лохмотьев грудь и как на меня молоком брызнет. Как не поверить! Иной бродяга представление устроит. Спросит, как путный: «Хлеб свежий?»— «Только, мол, из пекарни».— «Мед не засахарился?»— «Хороший, говорю. Сколько чего отвесить?» А тот сорвет шапку, покрестится и запоет: «Батюшки, матушки.. Отрежь, красавица горбушечку, помажь медком, будь милостинка твоя у Христа на престоле». Слова божественные, а видно — пропойца. Припоминаешь лавку — нищие в глазах да пьяные. Водка-то и у нас в лавке без переводу, самым ходким товаром была. Из-за нее матушка моя и умом повредилась. Повалится вдруг, застонет. Меня, говорит, Георгий Победоносец копьем пронзил, что я, алчности своей ради, народ спаивала. В ту пору, когда отец ваш к родителям моим зачастил

и часы примечал, чтобы меня в лавке застать, матушка еще в полном разуме была. Может, подумывала: грешное это дело торговать водкой, сколько зла от нее, людей загубленных, семей порушенных. Оправданье известное: мы, что ли, одни? Потом и сам царь на питейные доходы позарился, винопольку ввел. Что ни шаг, то кабак. Вина море, а по Руси горе. Жалела я пьяных. Начну в лавке совестить коего, отец ваш случится тут, поддакивает, и так это мне по душе было. И уж вовсе он пал мне на сердце, когда заметила, что стойку-то он ради меня подпирает, мной любуется. Такие мы в эти годы влюбчивые, только кто ласковее погляди, нежнее словечко молви. Матушка внушает мне: «Пойти за этого бородача и в мыслях не держи. Пришлет сваху, лезь на печь, задернись занавеской и сиди невылазно». Верно, сваха шелковым расстегаем шумит, приговорками сыплет: «Не здесь ли журавушку в неволе держат? Не здесь ли красну девушку взаперти томят?»... А я уж на печи, за ситцевой занавеской сижу. Обычай был: сваха на порог, невеста на печь. Наговорится востроязыкая гостья, согласна невеста — слазь и в ноги родителям, а свахе наособицу. Слушаю я, как Астафья Астафьевича гостья словесным жемчугом унизывает, тает мое сердчишко, так и слезла бы, а сижу, матушки боюсь ослушаться. Раздвинула занавеску на волосок, а в глазах все так и плывет от слез. Разглядела только, сваха руки о печку греет, чтобы спорее дело пошло. Батюшка насупился, молчит, а матушка мнется: то, се, Марья молода и пождет — не беда. Как проводили сваху, я и дала реву, об пол билась, хочу за Астафья Астафьевича, никакого мне молодого не надо.

— Обиделся, наверно?

— Что отказали? Надо думать. А отступа не делает. Письмо шлет: «Прошу фициально руки Марии Андреевны». Читает батюшка, в толк не возьмет; руки просит. Остальное-то, говорит, ему что, без надобности? Матушка язвит: видишь, работница ему нужна, руки. И я не пойму, что это плетет мой бородатенький. Батюшке отец ваш больно по душе пришелся. Сам поехал, просвети, мол, нас, людей глухоманных, как писанье твое понимать? Ну, тот объясняет: таким манером городские люди по почте сватаются. И приезжают они в тот раз вместе, мол, надо какой-то аминь молвить. Матушка

меня уж ни на печь, ни куда не гонит, решай сама, а я-де в застенье буду держаться. Вижу, говорит, что он не пустодуй, не кряхтун, на водку не алчен, а что староват, зато тороват. Как отец скажет. Слово батюшкино я и раньше знала. Сыграли свадьбу, попричитала я, с отцом — с матерью прощаючись, и поехали.

— В Кузьму,— напомнила я.

— До Кузьмы еще далеко было. Я и в лесниковых избушках одна куковала, и на плотах с отцом вашим плавала, и в Санчурске на Кокшаге у батюшки его работушку крестьянскую работала.

— Не обижал он? В песне-то, помнишь? Невестка свекру — полы вымыла — во щи вылила, порог скребла — пирог спекла.

— Такое и на ум не вспадало. Душевный был,— отвечает мама умиленным распевом.— Свекровь — та пожелезистее была, нраву тяжелого. Свекор, дедушка ваш, супротив ее вроде воробышка. Характером легкий, и будто легкость от него на всех исходила. Горе ли у кого, ссора ли ножевая, позовут его — и немного слов-то скажет, а и горе уж сполгоря, а и ссора на лад пойдет. Молодуха в шабрах родами маялась. Говорят, Астафья позвать надо. Бежит он, свекор мой, легонько стучит в дверь: «Ничего, ластынька, все, милая, хорошо будет». Как заслышала его голос — и легохонько родила. Умирает ли кто невмоготу тяжко, опять к нему: «Ступай, мил человек, облегчи муку смертную». Посидит рядышком, пошепчет ласково и будто сон вечный навеет. Легко с ним было. И на удивление, он всякое наше рукоделье женское знал, что сетку вязать, что кружево плести. Овдовел он, и разъединой утехой дочь у него осталась. Сам ей приданое вышил. Жениха выбрала, писаришку, не перечил. Все уже обговорено было, только в церковь. И вышел тот писаришка оборотнем, к другой оборотился: земскому начальнику в угоду его отставную мамзелю взял, ну — известное дело, в тягости та была, грех прикрыл. Земский за это чином его, Иуду Искариотыча, возвеличил. Как про то золовка моя сведала, будто у нее свет и очей и разума помутился. Мы уже тогда с отцом уехали, сказываю, что от людей слышала. Вбежала, говорят, в горницу, опрокинула на себя лампу-молнию, залилась керосином и спичкой чиркнула. А как охватило ее полымем, из дому прочь кинулась: «Тятенька, спаси!»

Свекор в саду копошился, ульи обглядывал. Видит, будто живой костер вырвался из ворот, покрутился и рухнул. И хоть бы одна душа поблизости. Торопится он с палочкой, добежал, да поздно. Еще огонь лижет ее, а уже ни единого знака, что жива.

Не впервые слышу я эту историю и опять горюю и возмущаюсь: из-за какого-то писаришки!..

— Отец-то у нее... недолго нажил? И где-то на стороне?

— На стороне,— повторяет мама.— Как ее...

Приходит Володька, бросает темную от дождя холщовую сумку в чернильных пятнах, дует на озябшие пальцы и хнычет, чего бы поесть. Мама откладывает шитье, закрывает машинку блестящим желтым колпаком с узорным знаком «Зингер» и собирает на стол.

Ночью мне снится летящий на меня огненный куст. Я просыпаюсь. В окошки с порывами сиверка плещется дождь. Холодно. Щупаю, хорошо ли закутаны Витюшка и Володька, не простудились бы — мы, по давнему обыкновению, спим на полу. Гляжу в темноту, воображаю, как бежала эта несчастная и горела, как отец тушил на ней ладонями огонь и не чувствовал боли. Мама что-то хотела о нем договорить. Да! ушел куда-то.

Вскакиваю, пробираюсь в чулан. Мама спит с Проней на кровати. Я лезу к стенке и шепотом спрашиваю, что было с моим дедушкой дальше, куда он ушел?

— Полуношница,— ворчит на меня мама и тянет одеяло в мою сторону, чтобы и мне хватило прикутаться.— Сон ее не берет. Ну, что было?— Голос мамы понемногу разгуливается, яснеет, и я слышу из темноты, как горевал дедушка, роздал добро свое, кому попало, и ушел молиться соловецким угодникам. Тятенька был с плотами на низах, у Каспия. Воротился он — дом на замке, ставни закрыты наглухо. Говорят ему, месяц уж, как ваше залесовское гнездо опустело, сестра мученическую смерть приняла, отец с подожком и нищенской сумой в Соловки где-то бредет. Часу не откладывая, поехал тятенька искать отца. Не добрел тот до Соловков. На реке Онеге, в деревеньке одной сказали тятеньке, что занедужил у них и умер странный человек с таким именем-отчеством. И могилу за рвом староверского кладбища ему показали.

Договаривает мама совсем засыпающим голосом.

6

Читать выучилась я лет пяти и рано пристрастилась к книжкам. Затаюсь на печке или в чулане и наслаждаюсь приключениями какого-нибудь вождя краснокожих или принца, ставшего нищим.

Отец любил читать вслух, мама слушала, делая что-нибудь по хозяйству, ахала, бранила злодеев. Запоем, с каким-то судорожным нетерпением все у нас читали романы Дюма. Как только выпускали из рук «Трех мушкетеров» или «Королеву Марго», я потихоньку брала книгу и забиралась в чулан. Отнимали ее у меня с обидными приговорками: «Вишь, пуговица, туда же в роман вцепилась. Чего понимаешь!» А я все понимала.

Одно время удавалось подолгу сидеть с книгой под столом, за свесившейся почти до полу кружевной скатертью. Меня не видят, а я все вижу. Читать темновато, но буквы разобрать можно. Слышу, отец шарит книгу в посудном шкафчике, врезанном в переборку.

— Мать, «Графа Монтекристова» не видала?

— Есть мне когда за графами глядеть,— отвечает мама, постоянно озабоченная и занятая то стряпней, то стиркой.— Чай, из ребятишек который в школу взял. Накажи-ка построже, чтобы на уроках не читали.

Перед тем как ребятам прийти, книга случайно обнаруживается в чулане на столике или в другом месте, где тятенька не догадался поискать.

Там же, под столом, прочитала я и «Манон Леско», и «Плодовитость», и еще несколько книг, до которых мне запрещено было даже дотрагиваться.

Росла я среди ребят, умела не хуже их ловить рыбу, грести, плавать, свистеть и в два и в четыре пальца. И все манеры у меня были мальчишескими, даже на выданье не знала я ни одного секрета женского кокетства: ни пощуриться, ни груди подвязать, чтобы торчком стояли, ни плечиком повести.

В школе всего полторы зимы проучилась. Тятенька решил, что с меня и этого хватит.

— Татьяна рукодельница хорошая, что шить, что вязать. Дома от нее больше пользы будет,— говорил он маме.— А время придет, замуж с ее мастерством и неученую возьмут.

Противиться я не осмелилась, тятенькину волю при-

выкли законом почитать, но это было для меня первым в жизни настоящим горем. Выплакала его втихомолку, даже маме не жаловалась. Какой толк! В душе она рада, что я буду постоянно с ней.

По утрам с завистью гляжу на ребят, как они собираются в школу. Счастливые! Каждый день новое узнают. И я бы узнавала, не будь девчонкой. На маму подосадуешь: зачем молила, чтобы я девчонкой родилась.

Понемногу острота обиды и горя прошла, в домашние хлопоты втянулась, в рукоделье. Больше всего книжками утешалась. Ребята целыми сумками мне таскали: читай, Танюшка, не горюй, что формулы да теоремы не зубришь.

Читательницей была я неутомимой. Качаю ногой зыбку, вяжу, не глядя, носки кому-нибудь или варежки и читаю. Так, с вязаньем и книжкой, выкачала я Проню и двоих мальчишек, умерших на втором году. Лет с десяти сама стала бегать в библиотеку в Кряжовск. Зимой ни пурги, ни вьюги не побоюсь, только бы сменять книжки. Летом подхвачу весла — и на лодку. Мама поглядит с горки из-под ладони, увидит с ковшик воды у меня под ногами, всполошится:

— Утонешь, худая лодка-то.

Беззаботно кричу ей снизу:

— Отольюсь.

Гребешь, семь верст против течения, умаешься. Библиотекарша, сухая, строгая, неулыбчивая, встречает меня как старую знакомую, успевшую надоесть. В ее глазах за старомодными очками с треугольной пружиной над переносицей замечаю беспокойство. Говорит она мне всегда одну и ту же фразу:

— Ты, Залесова, читаешь за пятерых.

Возьмет у меня книги, вычеркнет их в моей карточке и поворотится ко мне спиной, широкой и плоской, как доска. Быстро перебирает пальцами книги на полках, спрашивает, читала ли я ту, читала ли другую. Смущенно и виновато отвечаю, что и ту и другую читала.

— Не знаю, что и дать тебе,— с недоумением тянет она.— Бери вот эту: «Чудеса природы».

Мне остается только поддакнуть:

— Давайте. Я люблю чудеса природы.

Едешь обратно, к веслам не притронешься, лодка скользит сама, разве уж будет к самому берегу приби-

вать или относить далеко на стрежень. Нетерпеливо листаю новую книгу. Читать ее не очень интересно: ученая, ни разговоров, ни любви. Зато много картинок. Разглядываешь их и переносишься в неведомые страны. Сколько на земле чудесного! Там полыхают северные сияния, там бушуют и дышат огнем вулканы, там, в морской глубине, цветут анемоны и роятся золотые рыбки.

Дня через два едешь за новой книгой.

С тревогой жду, вот-вот библиотекарша скажет: «Сожалею, Залесова, но у меня больше ничего для тебя нет».

И дождалась. Она так и сказала:

— Сожалею, Залесова, но...

— А вон те?— Я показала на целый забор из книг с золотом на корешках.

— Это Брокгауз и Ефрон,— ледяным тоном ответила библиотекарша.— Не для чтения.

Такие красивые книги — и не для чтения. Не может быть. Боится, что испачкаю. Неужели не замечает, как я люблю книги и аккуратно с ними обращаюсь. Сказать бы это — неловко.

— Тогда вон те.— Я подняла глаза на толстые книги с черными корешками, стоящие неприступной крепостью на верхней полке.

— Тоже не для чтения. Это великий критик Белинский.

Жалобно, почти шепотом, я попросила:

— Дайте, пожалуйста, великого критика Белинского.

Библиотекарша подставила лесенку с тремя ступеньками и высоким шестом, чтобы держаться за него, и выдернула один из томов. Даже по ее спине было видно, как она досадует на меня.

— Это же рассуждения о литературе.

Не заглядывая в книгу, я сказала, что очень люблю рассуждения о литературе.

— Запишите, пожалуйста.

Читаю статью Белинского о Пушкине и недоумеваю, почему библиотекарша думает, что не пойму. Все понятно и очень интересно. Теперь если бы самый строгий учитель спросил, почему Пушкина называют бессмертным, ответила бы без запинки.

Некоторые места я и маме читала — о «Цыганах», о «Бахчисарайском фонтане». От какой-нибудь натужной выдумки, вроде «Котика Летаева», она сразу отма-

хивалась, кружит, мол, сочинитель, а тут слушала с почтительным вниманием, нет-нет одобрительно молвит:

— Речь-то! Ручьем льется. Лексея-то по жилочкам разобрал.

— Алеко?

— Про него и говорю. Таких мужиков и нынче много.

Слушать она любила. И романы, и путешествия, и даже когда ребята зубрили вслух по своим учебникам о походах Вильгельма Завоевателя или животном мире африканских саванн.

Неутомимым чтецом был у нас тятенька. Читал он неторопливо, однотонно, в чувствительных местах вздыхал и сморкался. Под старость он стал слепнуть и все ниже наклонял к книжке седую голову. Наконец стал видеть только одним глазом. Глядит в кулак и с трудом разбирает вслух слово за словом.

— Ладно, отец, выдумками глаз темнить,— скажет мама.— Побереги, запасного-то нет.

Тятеньке неймется узнать, что дальше:

— Погоди, Маня. Еще строчек пяток.

В ту пору жили они уже одни, и только чтение скрашивало их однообразную жизнь. Правда, своих книг было у нас всегда мало. Десятка два накупил Миша на толкучке в Кряжовске, с десяток принес Сергей из конторской завали, еще с десяток ребята наполучали в школе «За отличные успехи и примерное поведение». Некоторые книги ребята зачитывали у своих приятелей, чаще — они зачитывали у нас. Появятся откуда-то «Петербургские трущобы», «От поцелуя к поцелую», «Слепая любовь» — опять исчезнут.

И все-таки книги держались у нас постоянно и были неотделимой частью нашей жизни и нашей семьи. Мы росли с книгой, она до всемирной шири раздвигала пределы Рябиновой Гряды, роднила со всеми людьми на земле.

Не знаю, какой бы я была, если бы в шелесте страниц не прошли передо мной тысячи людей — героев книг: я жила их жизнью, вместе с ними волновалась, печалилась; многие из них и сейчас у меня перед глазами как мои незабываемые друзья. В книгах была моя школа, вместо той, с учителями и многими науками, в которой учиться мне почти не пришлось.

Спасибо вам, книги!

7

Дядя Стигней жил бобылем, человеком слыл придурковатым, ни к какому делу, кроме караульного, непригодным. Любил он с нами, маленькими, возиться. Сложит руки на голове, мы по двое уцепимся за его локти, он и крутит, пока не закричим, что хватит, свалимся. Это была карусель. Сказки рассказывал только страшные. Оглядит нас круглыми пугающими глазами и начнет: «Жил-был вор-собака разбойник и похити́л он царевну. Царь што, сейчас в милицию...» Стигнею везде грезились разбойники, может, больше за это и считали его чокнутым. Стоило кому-нибудь в шутку крикнуть: «Стигней, воры у дальнего склада!»— как он хватался за ружье и бежал к нашему дому. Длинный, худой, переломится через ограду палисадника, испуганно таращит глаза и хрипит:

— Марь Ондревна, воры!

Пьяный,— а случалось это частенько,— мотался по Гряде и куражливо выкрикивал, что он не кто-нибудь, он еще при царе Миколашке пять лет в полковом оркестре протрубил.

Мужики беззлобно подшучивали над ним и звали его Стигнейкой, самое большое Перфилыч. Чтобы сполна, по имени-отчеству его называли, Евстигней Порфирьевич, никто из нас и не слыхивал.

Рассказывать о себе Стигней не любил, и мы не знали даже, откуда и какими судьбами его занесло на Гряду. Иногда он уезжал куда-то на неделю, на две, и вместо него караулил хромой, на деревяшке, нерядовец, приходивший со своей дворнягой и щеглом в клетке.

Однажды Стигней пробыл где-то на стороне с месяц и воротился угрюмым, словно пришибленным каким-то горем. На наши расспросы, не захворал ли он, хмуро и глядя вбок отвечал, что ни пса ему не делается. Долго ходил он сумрачным, переживал что-то про себя, нет-нет опять стал заговаривать с нами, учить плести верши и лапти. Дивились все, что пить он с тех пор зарешил напрочь. Что могло его привести в такое расстройство, что от вина даже отшатнулся, никому дознаться не удалось. Не шибко и дознавались. Образумился, и ладно. Мы рады были, что он больше не отпугивал нас своим мрачным видом, опять стал устраивать карусель, а то

сымет рубаху, разляжется на лужайке и руки раскинет.

— Штекоти, мальцы-огольцы! Рассмешите, полтина с меня. Налетай, мошкара!

Мы налетаем, елозим пальцами по его костлявой груди и выпуклым ребрам — он хоть бы чуть губы в улыбке покривил. Досада берет: как дохлый. Подымется, хитренько подмигнет нам.

— Заговоренный я.

Увидит маму и ее на спор кликнет:

— Ондревна, подь и ты. Ухмыльнусь, рупь выложу.

Мама не любила его шуток.

— Щекотаться — свою бабу заведи.

Дядя Стигней сразу как-то сникал, молча поднимался и с пасмурным выражением натягивал через голову рубаху. Мы глядели на него снизу вверх и с недоумением и жалостью слушали его обиженное бормотанье:

— Бабу заведи... Не коза. Я с проста ума живу. Что есть обзаводу, все на мне. Где уж семью... А так, по кустам блудить... это уж пусть Остафыч...

К чему он нашего тятеньку приплетал, вовсе было не понятно. Спросить стеснялись. Думали: завидует. Тятенька наш — какой-никакой, а начальник.

Одно время склады на Рябиновой Гряде тянулись по берегу мало не на полверсты. Осенью с низов привозили на баржах разную плотогонную снасть — якоря, шеймы, лоты, цепи, канаты... Приезжал и тятенька. Забежит ненадолго домой, перекусит, гостинцы нам рассует, скороговоркой скажет, что в каком городе купил, и скорее в Нерядово, нанимать людей на разгрузку.

Гомон поднимается на Гряде, как на кряжовском базаре. Мужики с уханьем и непристойными припевками волокут стопудовые лоты, стальные тросы, пеньковые канаты, бабы перетаскивают что полегче. Тятенька распоряжается, куда какой груз складывать, тонкий веселый голос его слышится то с баржи, то из темной пасти склада. Конторские пишут, за порядком следят.

В такие дни мы с утра до вечера на берегу. Нам все интересно: и как подымается пустеющая баржа, и как тятенька шутливыми окриками подгоняет работающих:

— Тащи, народ, до самых ворот. Бабы-шельмы, несите шеймы...

— Все уж перенесли,— бойко откликается которая-нибудь из баб,— Расплатой не поскупись.

— С такими красавицами да скупиться,— подмигивает им тятенька.— Чем желаете, червонцами или шпиртом?

— Шпи-и-ртом!— задорно голосят бабы.

Слышатся недобрые и словно угрожающие мужичьи голоса:

— Бабий клещ! Так и ластится.

— Со шпиртом решил подъехать.

— Чтобы легче валились.

Разгрузка подходила к концу, людей на берегу оставалось немного. Похолодало, и мы отсиживались дома. Кто-то загрохал в боковое окошко, испуганно выкрикнул:

— Марь Ондревна, мужики Астафыча бьют.

Голос дяди Стигнея.

Мама с тяпкой в руке, простоволосая, кинулась в дверь. Я строго наказала Володьке, Проне и Вите носа не высовывать на улицу и — ветром за порог. Вижу, мама вскинула тяпку над головой и с криком наступает на мужиков:

— Пустите Астафья! Разражу!

Толпа раздалась. Мама помогла тятеньке встать с земли. Пиджак у него на груди разорван, рубаха распахнута от ворота до подола, лицо и борода в крови.

— Держись за мной,— командует мама и гневно оглядывает мужиков.— Налили буркалы-то. Десятеро на одного. Что он вам? Обсчитал, что ли? Так врете, копейкой вашей не корыстуется.

— Не за копейки его,— огрызнулся один из мужиков.— За похабство.

— К нашим бабам липнет,— выкрикнул другой.— Проходу не дает.

— Портки у него плохо держатся,— съязвил третий.— Увидит бабу, сами сползают. Вот и хотели приколотить.

Я стою у крылечка избы дяди Стигнея, сам он сидит тут же, на нижней ступеньке, босый, и вьет веревку, конец ее, с узлом, держит между пальцами ноги.

— Спьяну это они тятеньку, спьяну,— возбужденно и торопливо твержу я.— И завидуют, что он начальник.

— Все может быть,— нехотя тянет дядя Стигней, не глядя на меня.— Мне что. Узрел беспорядок, знак подал, а разбор — ваше дело. Главное, Татьянка, никогда от правды не отворачивайся. Горькая, а ты пей. Вот и сей-

час. Мало приятности, что мужики гавкают, а ты слушай.

Я слушаю и киплю от обиды за тятеньку. Мужики из Нерядова,— некоторых я хорошо знаю, за молоком бегаю к ним,— степенные, добродушные, а тут кулаками сучат, зубы щерят. Каменьями летят в тятеньку злые мстительные слова:

— Потаскун!

— Сучий угодник!

— Вырезать у него жеребячью лихость, пущай к Марь Ондревне мерином придет.

Мама отшугиваст мужиков тяпкой:

— Баб своих уймите. Всякий стыд потеряли.

Смелеет и тятенька.

— Чего пристали!— хорохорится он и выступает из-за маминой спины.— Нужны мне ваши чумички. А что с одной на складе пошутил...

— Молчи уж,— обрывает его мама.— Домой ступай.— Она идет сзади и негромко, плачущим голосом зудит его.

— Вот за то самое его и лущили,— заключает дядя Стигней, когда они прошли и за ними брякнула щеколда двери.— Всем бы Астафыч мужик ладный, башковитый, а за это — не хвалю. Тебе, Татьянка, кой годик-то?

— Семнадцатый.

— Ишь!.. Тоненькая, хоть в узел вяжи. Думал — дите, а ты — невеста. Разуметь должна эти дела.

— По книжкам только,— признаюсь я. И правда, об изменах жен и мужей, о совращенных бедных Лизах, искусительных Нана и Манон успела я начитаться вволю. Но ни разу не слыхивала, чтобы мама при нас хоть словом повинила тятеньку в таких похождениях. Разве наедине.

— Чай, думаешь, что́ раньше не знала?— Дядя Стигней отделяет от связки мочал светлую шелковистую прядь и понимающе взглядывает на меня.— Потому и не знала, что мать у вас молодец. Золотой человек и великой силы душевной. Вот так-то. Все ведала и — как под замком.

— Что ведала?

— А вот это. Прямо̀ сказать, саврас без узды ваш тятенька. За каждый бабий подол как репей цепится. Не дивно бы молодой, а то под шестьдесят, голова как в снегу вываляна Шатило ты непутевый.— Он корит тя-

теньку, словно тот стоит перед ним с повинной головой.— Ондревну теперь возьмем. Выручила она его, привела. Думаешь, в волосы ему вцепится? Скалкой пойдет щепать? Не-е... Вас от беспокойства побережет. Ей первое дело — семья. Пусть, мол, он шалопутный и разбеспутный, а семья в мире нерушимом жить должна. Вот как Ондревна судит. Настоящая мать. Поплачет, как без этого. Астафыч покается, она, по чистоте душевной, поверит. А там опять. Великомученица детей своих ради. Будь моя воля, богомазам велел бы с нее богородицу писать.

— Любит ее тятенька,— говорю я, и это кажется мне самым убедительным доказательством, что небылицы о нем плетут.— И женился он по любви.

— Не силком, это верно,— соглашается дядя Стигней.— Только ежели...— Он мнется, хочет сказать что-то и сомневается, надо ли.— Я ведь сам ветлугай, из ваших краев. Под началом Астафыча плоты вязал, так что мало-мало знаю его. Говоришь, по любови... А как это в мыслях сообразить: отпировали на свадьбе, проводили молодых на покой, а он от молодой жены да к прежней своей магдалинке. У нее и ночевал. Так и пошло. Куда ни едет Астафыч, везде у него краля заводится. Знала ли Ондревна? Как не знать. В Кузьме одинова... Сидит в чайной, зубы с развеселой бабенкой скалит. Одаль я — щец заказал. И входит, скажи на милость, Ондревна. Поклон честь честью и тоже к супругу подсаживается. Мне весь их разглагол слышно. Астафыч про бабенку крутит, мол, вот из нашего села встретил, санчурскую. Фициант подлетает, что-де подать прикажете. «Подай моей жене,— Астафыч приказывает,— обед самолучший». Тот глядит на обеих, плечами дергает. «Разъясни, Астафыч, которой, ведь ты две недели вон ту женой называл». И на развеселую бабенку указует. Та — спасибочки за угощение и вихорем вон. Ей, валявке, дело привычное, матери-то было каково? Недавно гляжу, нерядовскую весельщицу...

Я взмолилась, хватит, мол, дядя Стигней, слушать тошно.

С тех пор будто надломилось что-то в моем отношении к тятеньке, и я уж не тянулась к нему, как прежде, всем сердцем, всеми словно звенящими в тебе от радости жилками. Почужел он как-то, потускнел. Не было

к нему прежнего детски чистого, ничем не замутненного доверия.

Мама, видно, перемучилась всеми муками ревности и только брезгливо отмахивалась, когда слышала о тятеньке еще что-нибудь постыдное.

8

Пришел Сергей, подал маме черный шерстяной платок, тятеньке отрез на штаны и сказал, что это от его невесты.

— Марусей зовут. На свадьбу пожалуйте, имеющую быть через две недели.

Мама разахалась, как это: ни смотрин, ни сговору и бух — свадьба.

— С приданым-то как?

— Что положено, воспоследует.

Лет десять уже Сергей прослужил в конторе и привык выражаться так, будто читал казенную бумагу. На службе у него был свой, как он говорит, персональный телефон. Когда звонили, он поднимал трубку и протяжно, баском извещал: «Залесов у аппарата». Тятеньке нравилась его чиновная авантажность и практическая сметка. Уверенный, что его старшой и с женитьбой не промахнется, осведомился только:

— В дом входишь?

— Свой поставлю.

Сергей, на удивление, не похож на братьев: осанистый, выше всех. Мама сказывала мне, посмеиваясь: «В Санчурске мы жили, родила я Сережу. О ту же пору и матушка моя родила. Приехала я погостить к ней, сидим рядком и обе младенцев кормим, я сынка, она — дочку. У матушки грудь — как пудовик крупчатки вывалится, молока на тройню, а девчушка хиленькая. У меня грудь с лесное яблочко, а дите крупное, дашь ему — в минуту высушит. Матушка и говорит: «Дай-ка мне твоего опойка, а ты мою чехонь возьми». Поменялись. Орали сперва, и глядеть на чужую грудь не хотели, а потом ничего, впились. Мой таким налитым стал: пошел — семи месяцев не было. Шутили: с бабушкина молока вымахает молодец до потолка».

На свадьбе у Сергея я не была: осталась с Витюшкой и Проней. Вечером, когда уложила их спать, достала из

киота иконку с румяной богородицей и обошла с ней все углы, чтобы темноты не бояться. Теперь не страшно. Это кто-то из прохожих людей насоветовал. И все-таки без больших в доме в темную осеннюю ночь жутковато. Сажусь ближе к лампе, ищу в романе «Мимочка» страницу, на которой я остановилась, и начинаю читать и вязать чулки маме. Дочитаю, у меня наготове продолжение: «Мимочка отравилась».

Перед глазами мелькают строчки, словно рябь на воде. Думается другое,— что там, в Кряжовске. Пируют, кричат: «Горько!» Хоть бы в дверь поглядеть. Звали. В чем бы я поехала? Платьишко у меня ношеное-заношенное, башмаки латаные-заплатанные. Меня и маленькую нарядами не баловали. Еще в Кузьме жили, мама в праздник надела на меня новое платьице. Я бегом на улицу, там подружки играют. Все в башмаках, а я босиком, старые мои чибиретки и надевать было совестно: худые, стоптанные, кургузые. И босиком совестно. Села на крыльцо, ножонки свои, в цыпках, поджала, чтобы их не видели, и поглядываю, как подружки носятся.

И подросла — все то же. Раздобрится тятенька, купит башмаки, а платье старое, по миру в нем только ходить, людей жалобить. Как-то мама при мне заговорила с тятенькой, мол, надо приодеть Таню: и вяжет на всех она, и стирает, и полы моет... А что тятенька? Свесил на глаза седые брови, буркнул: «Парней надо одевать: учатся, большими людьми будут. Татьяне дома не все ли равно, и в старом походит». Мама попыталась возразить: «Невеста ведь». Хмыкнул, покосился на меня. «Худа больно, кто такую возьмет. Пусть дома вековует». Прямо по сердцу хлестнули меня эти слова, убежала я на берег, села на лодку и безутешно расплакалась. Нет, мол, никого на свете меня, вековухи, несчастнее. Некрасивая, тощая. Не Сергея бы надо бабушкиной грудью раскармливать, а меня. И что бы мне тогда родиться, а не ему! Мог бы и тощим пожить, живет же Иван. Была бы я пышная, полногрудая, ходила бы павой... Не до стихов мне, а в голове неотвязно кружатся чьи-то две строчки: «Говорят, гречанки на Босфоре хороши, а я черна, худа...» Будто про меня. Черна, худа... Кто меня такую полюбит. Да еще бедную. Никакого за мной приданого... не воспоследует.

Вышла мама, села рядышком, поутешала, врет-де он,

сивый шайтан, таких, как я, тоненьких, больше любят.

Со свадьбы воротились на третьи сутки. Тятенька удовлетворенно крякал: хорошую бабу Сергей подцепил, домовитую, рачительную. Мама так и пела о своей первой снохе: речь-то у нее приветная, походочка плавная, повороточка лебединая...

Недели через две приехали молодые к нам на Гряду. Пригляделась я к невестке: лисонька, мягко стелет. Расписывала, какой они дом надумали построить. К тятеньке ластилась: «Папашенька, на вас вся надёжа, вы у лесных начальников в большом уважении, так уж нам леску предоставьте. Ну и железа, стекла, чего там еще, пакли, гвоздей, это у вас на складах найдется. Вы как-нибудь... А мы к вам, папашенька, со всем нашим расположением». Тятенька от ее умильной улыбочки и воркующего голоса только жмурился. «Обделаю, Марусенька, будь покойна». Будто мурлычет.

Она у него и денег выханжила.

Дом возвели — глядеть любо. Под железом, золотистой рейкой обшитый, с резными наличниками — игрушечка, на солнце так и блестит.

Я по-прежнему часто бывала в Кряжовске — летом туда и обратно на лодке, зимой по льду пешком. Библиотекарша уже не вздыхала, что не знает, чего мне дать: новых книг появлялось все больше. На прилавке у нее «Барсуки», «Цемент», «Разгром», «Виринея», «Железный поток», «Андрон Непутевый», сборники разные — «Ковш», «Круг», «Недра», журналы «Прожектор», «Красная нива», «Всемирный следопыт», «Октябрь»... Перебираешь книги.— и эта, видать, интересная, и эта, не знаешь, какую и отложить. Выберешь наконец, к журналам скорее. Библиотекарша один толстый дает, другой потоньше, с картинками. Рука так и дергается от «Красной панорамы» к «Прожектору», от «Прожектора» к «Огоньку»...

Глухое это было место, Рябиновая Гряда, а мы на тысячи верст кругом видели. Вот электростанция заработала в Шатурах, бумагу стали выделывать в Балахне, значит, книжек и журналов еще больше будет, в Ростове-на-Дону завод земледельческих машин начали строить. Далеко все это от нас, а мы видим, будто на высокой вышке стоим. И опять хочется книгам да журналам спасибо душевное сказать.

Часто бывал в Кряжовске и отец: в последние годы он заведовал такелажным складом на Рябиновой Гряде и далеко не уезжал. Иногда мы вместе заходили к Сергею. Всякий раз я любовалась хитроумной резьбой наличников и причелин, но с неохотой поднималась на крылечко, обведенное деревянным кружевом, с неохотой шла по чистовымытым сеням. Сергея мы обычно не заставали дома, со службы он возвращался поздно. Маруся встречала нас как будто радушно, пела: «Проходите, гости дорогие!»— и в то же время с неприязнью оглядывала нашу обувку, как бы мы не наследили на ее зеркально крашенном полу. Я понимала ее взгляд, разувалась в сенях и ходила только по тканьевым дорожкам, тятенька топал в сапожищах где попало. Спросить, не голодны ли мы, да посадить за стол хозяйка не спешила, разве уже тятенька сам скажет: «Чайку бы нам, Марусенька, подогрела». Тогда засуетится, захлопочет с приговорками, уж простите, мол, и невдогад мне, шишиморе. Извинений наузорит, только слушай.

За стол садилась я с неохотой, вдруг сделаешь что-нибудь не так. Захочешь налить воды в стеклянный ставчик, а может, из него не пьют. Спросить неловко. Сварит яйцо, поставит перед тобой в рюмочке, ешь, говорит, не вынимай. Начнешь ковырять его, обязательно опрокинешь. А на столе у нее все блестит. Да и все в доме будто вылизано, все аккуратно расставлено. На широкой кровати гора подушек, внизу большие, со стол, кверху все меньше, а посередине еще одна — как парус вздыбилась.

Маруся — искусная рукодельница, и везде у нее кружевные накидки, разноцветные вышивки, коврики...

Едем домой в лодке, тятенька не нахвалится Марусей: и собой-то видная, и нравом-то тихая...

— В чем ты,— говорю,— доброту ее увидел? Какими она тебя разносолами прилакомила?

Тятенька сердито хмыкает.

— Тебе еще чего? За стол — милости просим, чайку — пожалуйста. Обходительная.

Я теперь с тятенькой зуб за зуб,— если вижу, что он не прав, ни за что не уступлю.

— Очень,— говорю,— обходительная. Так тебя обошла, что ты готов ей половиком под ноги лечь. Ради нее и лесу им воровски навозил. Хорошо?

— Не твое дело.

— Мое. Деньжищ сколько ухнул.

— Опять тебя не касаемо.

— Касаемо. Мы с мамой в лопоти ходим, по новому платьишку не сгоношим, а ты — на, Марусенька! Добротой она его обольстила... Не наплакаться бы от ее доброты.

Так до самого дома и препираемся.

Подошло время учиться Володьке. Тятенька не раздумывая решил:

— У Сергея жить будешь. Чего от своих людей да угол искать. Съездим, так, мол, и так. Скажут: о чем речь! милости просим.

После тятенька сказывал, что при первых же его словах Сергей с опаской оглянулся на Марусю; та сначала поджала губы, бормотнула, что теснота у них, повернуться негде, потом нехотя смилостивилась.

— Ладно уж, потеснимся. Не чужие. Столоваться — что сами, то и ему. Накажите, чтобы не фыркал, ежели сделать что попрошу.

Тятенька заверил, что не фыркнет.

— Тише воды будет.

Нелегко было шумливому и характером супротивному Володьке стать тише воды. Ютился он у Маруси на кухне, спал на каком-то веретье. После школы не жди, что покормят тебя да за книжки сядешь — в делах покрутись, как вор на ярмарке: дров натаскай в обе печи, на кухне и в горнице, помои вынеси хряку, самовар поставь да в оба гляди, чтобы не убежал.

Обедать Володька садился вместе с Марусей и Сергеем, и каждый раз вылезал из-за стола голодный. Терпел, молчал. Думал, увидит Сергей, что его братец сидит у них за столом как нищий, на самом дальнем углу, ест без хлеба, цыкнет на подлую Маруську и скажет: «Не стесняйся, ешь, сколько утрамбуется, у Советской власти дела в гору идут, хлеба на всех хватит». А тот подвинет к себе тарелку, важно уткнется в газету и не взглянет. Ваше благородие.

Месяца через три Володька прибежал домой в середине недели. Выпытываем, что, мол, не вовремя. Глаза отводит в сторону, мямлит: «Так... Отпустили...» Дождался, когда мы отвязались, шмыгнул за переборку к печи и там втихомолку ставец картошки умял, полгорш-

ка гречневой каши и еще что-то, весь наш ужин. Вышел, пришипился у окошка с «Таинственным островом».

Перед ужином мама поохала над пустой посудой, обняла Володьку:

— Болезный ты мой, наголодался как. Или пошел, Маруся тебя не покормила?

Володька поугрюмел, исподлобья кольнул глазами тятеньку, — тот за столом подбивал на счетах квитки, звучно брякал желтыми и черными пронизями. Кажется, он не слышал их разговора. Безразлично спросил, чтобы и его отцовское слово было:

— Слушаешься ее?

— Слушаюсь, — ответил Володька и отвернулся. — Не послушайся, изведет. Сука она, эта ваша Маруся.

У тятеньки глаза из-под белых бровей так и сверкнули. Выпрямился, грохнул счетами по столу.

— Пащенок! Мизинца ее не стоишь. Приветила его, а он...

Занесся и Володька, но на всякий случай попятился к двери.

— Тебя бы так-то приветить. Кощей она сухожилый, удав, за копейку удавится. Сядем за стол, себе щи с убоиной, а мне пустая похлебка, не хватило, говорит. Хлеб к себе придвинет, тянись за ним с угла на угол. А я стесняюсь и уркаю без хлеба. — Набычился и отрезал: — Не пойду к ним больше.

— Пойдешь! — Тятенька погремел счетами в воздухе. — И Марусе в ножки поклонишься. Ехидина. Хорошего человека обклеветал.

— Может, не обклеветал, — вступилась за Володьку мама. — Съезжу сама и увижу.

Съездила. Со сноxой о Володьке и речи заводить не стала, что гадюку дразнить. Улучила минутку, с Сергеем один на один перемолвила. Попрекнула, что сердце у него даже к родному брату закоростело.

Вряд ли Сергей какие внушения делал Маруське, только с тех пор он будто невзначай переставит хлеб на середину стола. Маруська его, тоже вроде нечаянно, к себе везет, Сергей опять на середину осадит. Заметит, что у них щи жирные, не продуешь, а у Володьки — мутная вода с луковицей, с усмешкой крякнет:

— Давно не едал похлебки. Ну-ка, Володька, поменяемся.

9

Вслед за Сергеем откололся Миша от нашей семьи. Кончил школу и уехал куда-то в Заволжье. Месяца через два написал нам, что служит в Лебедянском леспромхозе и живет не один. В письме сказано было как-то возвышенно и смутно: «Фортуне угодно было, чтобы моя встреча с Зойкой во глубине ветлужских лесов стала Рубиконом моей одинокой жизни».

— Съезди, отец, — взмолилась мама, — погляди, ладно ли у него вышло. Какая это фортуна сосводничала? Нет бы турнуть ее да нашего совета спросить. Насчет рубикона... Про что он это?

— Кто е знает. Ученые. Кон вышел, удача, руби. И составился рубикон. Так думаю. Съездить надо. Там у меня не то что люди, и волки знакомые.

Воротился тятенька не в духе, на расспросы мамы огрызался: «Мне-то что? Пусть хоть на росомахах женятся, их воля». Когда отошел немного, пустился в жалобы на своеволие и непокорство сынов.

— Коя подвалится им, та и жена. Сергей — ладно, хоть домовитая попалась, а уж Михайло... И молвить — стыд. Гулящую пригрел. Ивана, говорят, Анка перядовская шурымурит. Нашел жираффию, нечего сказать.

— Не старое время, отец, — оправдывала их мама. — Не принсволишь. О Мише-то сказывай. Зойку он поминал. Так гулящая-то... Неужто сам так честил?

— Еще бы сам. Люди.

— Им-то что? Считал бы он хорошей.

Весной, в самую водополь, Миша приехал к нам со своей Зойкой. Мне она с первого взгляда не показалась. Худенькая, белесая, взглядывала диковато и пугливо, спросишь о чем, голову втянет в плечи и, видно, не сразу сообразит, что ответить. Говорит натужно и невнятно, слова какие-то угловатые, и после каждого будто ставит точку.

Слышу, мама заговаривает с ней.

— Скучно, чай, в лесу-то?

— Ничо-о. Живем. Дела.

— Работаешь, что ли?

— А то. Контора. Уборка.

Пыталась и я расшевелить ее. Сели на скамью на пригорке, говорю, какое здесь красивое место. Зойку оно

не трогает. Поглядела сквозь прищуренные бесцветные ресницы на Волгу, на колоколенку в селе на том берегу и равнодушно протянула:

— Ничо-о. Далеко видно. Миша хвалил.

— Вспоминал?

— Сколь раз!

— Познакомились-то с ним как?

Зойка вспыхнула и опустила голову, будто я напомнила что-то такое, о чем ей и вспоминать не хотелось.

— Как познакомилась, — отрывисто повторила она и вдруг мечтательно улыбнулась. — Известно как. Сватался. Телеграммы слал. Люблю, говорит. Плакал. Я и пошла.

По красным пятнам на щеках и этой смущенной мечтательной улыбке я догадывалась, что говорит она неправду, но ей, видно, так хотелось: и телеграмм о любви, и слез. Я не дознавалась, как было на самом деле. Спросила только, хорошо ли они живут.

— Ничо-о. Живем. Всяко.

В ту весну Волга раздалась так, что наш дом оказался кругом в воде. Лодка, привязанная к перилам крыльца, день и ночь глухо стукалась о стену под боковым окном. Когда проходил мимо пароход, мы хватали кто старое ведро, кто заслонку, кто противень, садились в лодку, отъезжали немного и начинали грохать по железу и показывать на свой затопленный дом. Пароход откликался тремя густыми короткими гудками, дескать, понимаю: боитесь, как бы ваш домишко волной по бревнышку не раскидало. Колеса замедляли ход, плицы хлюпали реже, и он напротив нас скользил, почти не поднимая волны.

Один из пароходов мы встретили на лодке вдвоем: я и Миша. Звали Зойку, но она прислушалась, как плещутся о палисадник волны, и боязливо пробормотала:

— Вот еще! Утонуть-то.

Прошел пароход, успокоительно дудукнул и волну пустил самую безобидную. Возвращаться домой не хотелось, и я, орудуя кормовым веслом, направила лодку вдоль берега в сторону Кряжовска. Пригляделась к Мише. Как он постарел! Заботы ли начеркали столько морщин или хворь? Может, нелады с Зойкой? Полушутя спросила, что не позовет в гости.

— Хоромы бы твои поглядела.

— Не возвел, Таня. Комнатенка в бараке. Мне хватит.

— Тебе... А Зое? Свой дом нужен. Не просит?

— Молчит.

— Тихая она у тебя.

— Как омут.

— И... черти водятся?

— Бывает. — Миша захватил рукой несколько прутьев вербы, подтянул лодку и сел на них. Достал папиросы, закурил. Я хотела уточнить, что за черти, но он заговорил сам. — Чужие мы, Танюша. Такая ли в мыслях виделась? Думал, красивая будет, умная. Ну хоть... как ты.

— Мерси, братец.

— Не шучу. Фею ждал, Олесю, лесное чудо. А тут — чудище.

С обидой за бедную некрасивую Зойку я сказала, что вовсе она не чудище, обыкновенная, только забитая какая-то.

— Не любишь ты ее, вот и бредишь феями.

Миша бросил окурок в воду, последил, как его закрутило в воронке.

— Не люблю, Танюша. Разжалобила. Приласкал как собачонку. Осенью это было. Ненастье, вечер. Куда деваться? К клубе десятый раз «Конец Санкт-Петербурга» крутят. Захаживал иногда к соседу по конторе. Счетовод, сухарь, в шахматы сыграть чуть уломаешь. И к нему надоело. Сварливый. Услышит, которая из баб ведет себя вольно, и пойдет савонаролить, в распутстве всех обличать. Заявилась к нему сестра откуда-то из-за Вятки...

— Зоя?

— Она самая. Мать умерла, одной, говорит, страшно жить стало. Этот сухарь — ничего, живи, чтобы хлеб есть незадарма, в уборщицы ступай. Ладно, живет... Леспромхоз — известное дело, парни да мужики, бабы наперечет, а девки и совсем редкость. Зойку то один облапит, то другой. Кричать боялась, дойдет, мол, до брата, заест. Парням — чего лучше: безответная. Ну и пошла по рукам. Драки из-за нее начались. Слухи — распутевая. Брат — учить ее чем попало. Сижу как-то в своей одиночке, читаю, за окном черно, ветер, деревья гудят, о стекла крупа шуршит. Слышу, в окно стучит кто-то. Бо-

язливо, одними ноготками. Поднимаю газету — холостяцкую штору. Зойка. Без платка, на лбу царапина кровоточит, по щекам слезы. Губы шевелятся, а что говорит, не слышно. Показываю на дверь, иди, мол, отопру. Вбежала, будто волки за ней гнались, прислонилась к косяку и тут же на пол сползла: стоять, видно, сил не было. Поднял ее, посадил к столу. «Брат, говорю, что ли?» Сжалась, голову ладонями стиснула, скулит: «Кто же... Забьет до смерти». Помочил полотенце, кровь у нее на лбу вытираю. «Чем, мол, это он?» — «Сперва, говорит, ремнем от ружья, потом сапогами пинал». — «Серьезная, говорю, наука. Хочешь, вместе к нему пойдем». Опять скулит: «Не погуби, дай в уголке у тебя переночую». Ну, сердце и дрогнуло, человек все-таки, что ее на побои толкать. «Ложись, говорю, на моей постели, хоть ты и не званая у меня, а гостья». Сам на лавке улегся.

Представляю, как Миша на голой лавке под стареньким пальтецом корчится, ревматизм наживает.

— Продрог, наверно. И она хороша; мерзни на лавке. Не пожалела тебя.

Миша привстал, прутья вербы выпрямились, и лодку поворотило течением и понесло обратно.

— Пожалела, — заступился он за свою дикарку, и долго не сходила с его лица добрая и смущенная улыбка.

10

С утра сажали с мамой картошку, потом я одна копала землю под гряды. Под ногами бело от вишневого цвета, сорванного сегодня ночью ветром. Вишен у нас всего пять деревцов. Еще вчера стояли они будто в белой пене, белее, чем гребни волн, когда Волга расходится и зашумит, и закачает баржи, стоящие неподалеку, напротив складов, и начнет хлестать их смоляные борта. Сегодня деревца голые, листья как следует еще не распустились. Сквозь городьбу проблескивает река, видно, как распахнул ее светлую гладь только что прошедший пароход и как перекатываются и бегут к берегу зеленоватые валы.

С другой стороны — горная высь, огромные вязы на ее кромке отсюда кажутся малорослыми кустиками. По уступам толпятся монашески сумрачные кусты можже-

вельника, по зеленой, почти отвесной крутизне цепляются молодые березки, окутанные желтой дымкой. Подножие горы изгрызли обвалы и оползни; из разноцветных пластов тяга земная выдавливает родники. Я люблю слушать, как игрушечными водопадами дробятся они о камни и с тихой неразборчивой речью спешат встретиться в пруду. Зимой на их месте ледяные изваяния, похожие то на медведя, вставшего на задние лапы, то на сгорбленного странника, думающего какую-то долгую думу.

Из пруда вырывается ручей, пробегающий мимо нашей бани. Мыться у нас и белье полоскать одно удовольствие: вода прямо у порога, чистая, родниковая.

Кто-то мелькнул на пригорке за сквозной рябиновой рощицей, постоял у пруда, огляделся и торопко зашагал к бане. Я заметила только низко надвинутую серую кепку и все-таки узнала Ивана. Меня он не видел за вишнями и, кажется, не хотел, чтобы и его кто-нибудь видел. В одной руке у него какая-то ноша, обернутая тряпкой и стянутая проволокой. На минуту скрылся за баней, вышел оттуда с пустыми руками и с той же оглядкой прокрался к дому.

Меня одолевало любопытство, что за таинственный клад спрятал он. Раздвинула обветшалые палки в городьбе и юркнула вдоль нее к бане. В сухой прошлогодней крапиве лежала связка гладко выстроганных дощечек. Стоило прятать!

Дома поздоровалась с Иваном, от расспросов, что за доски принес он и зачем делает из них тайну, удержалась. Может, удивить чем-то хочет, а я помешаю.

— На пару деньков к вам, — объяснил он свой неожиданный приход среди недели. — Рыбки думаю половить.

— Ну, ну, — гудел в бороду тятенька. — Ежели с подпуском, к Нерядовской косе пройди, там лещ хорошо берет.

— И я пойду, — вызвался Витька.

— Поймаешь с тобой, — недовольно возразил Иван. — Мешать только будешь.

Витька — смола, от него не отвяжешься.

Под вечер принесли с пяток тощих плотичек на бечевке. Иван винил в неудаче Витьку и обещал дать ему пинка, если он и завтра увяжется.

На другой день мы с мамой ездили на лодке в Кря-

жовск. Маме надо было купить муки, мне сменить книжки.

На обратном пути в полуверсте от дома глядим — Витя. Бредет по приплеску и нехотя, видать уж давно, хнычет.

— Что ты? Кто тебя? — встревоженно окликает его мама и правит к берегу. — Упал, что ли?

Лодка ткнулась в песок. Витя залез к нам, деловито спросил, что купили, и поддал реву.

— Не упал... Ванька меня. За ухи. И пинка дал.

Мама кулачком пригрозила Ивану.

— Вот я его! За что он тебя?

— Не знаю-у...

— Рыбу опять мешал ловить?

— Там и рыбы-то нет. Одни лягушки.

— Где там?

— В бане. Колотит он там чего-то. А я полез, думал, подать что, подержать. А он выбежал и за ухи меня... Выпустил — и пинка... Я до самого двора летел.

— Вот я его, — еще раз пообещала мама. — Что ему за игрушки в бане.

Прицепили лодку к веретену якоря, затянутого песком, занесли домой покупки и книжки — и тут же к бане. Мама торкнулась. Заперто.

— Ванюшка! — Для нее мы даже взрослые оставались маленькими, от которых только и жди проказ. — Ванька, слышь! Отопри!

— Не отопру, — послышалось из глубины бани.

— Чего там блудишь?

— Дело у меня. Кончу, уйду.

— Какое дело? Косорыловку, что ли, надумал гнать?

— На что она мне.

— Чего же там?

— После скажу.

— Сейчас скажи.

— Привязалась. Не скажу.

— Это ты матери так! Ах ты ветрогон, неслух этакий. Отопри, сказала, греховодник!

— А я сказал: не отопру.

Мы с Витькой попытались заглянуть в окошко, но изнутри тупо уставилось на нас мятое дно железной шайки. Мама долго еще торкалась в дверь и то честью уговаривала, то грозила послать за отцом.

— Не буянничай, Ванька, не супротивничай, отопри. Погляжу, чего там гомозишься, и уйду.

— Нечего глядеть. И дело тут не твое.

— Как это не мое! — У мамы даже дыхание перехватило от гнева. — Уж не девку ли куда заманил. Нашел место. Отопри, говорю, шалыган ты этакий!

Из бани слышится все то же отчаянно упрямое «не отопру». Выведенная из терпения, мама велела Витьке бежать на склад за отцом. Тот пришел с топором, грозно свесил брови и только один раз брякнул обухом в дверь.

— Ну-ка, Иван... Отомкни.

Слышно, как отодвигается засов. Тятенька нагнулся и нырнул в полумрак предбанника, следом мама, словно на ниточке привязанная к нему. Сунулись было и мы с Витькой, но мама турнула нас.

— Куда чалитесь! Топайте-ка домой.

Чтобы не сердить ее, мы вышли и затаились поблизости за кустами бузины. Было слышно и отсюда, как тятенька костерил Ивана:

— Напаскудил! С каланчой нерядовской? Ни венца, ни брака... Нехристи.

Стукнула дверь, из бани вышел Иван, боком держа перед собой новенькую аккуратную зыбку с медными колечками на углах и зелеными витыми шнурами. Сконфуженный, красный, он приладил ее под мышкой, огрызнулся на выкрики отца: «Лаяться твое дело... Шагу больше к вам...» — и чуть не бегом направился по тропинке в гору.

Переругиваясь, вышли тятенька и мама.

— Своевольщики, — ворчал тятенька. — Нет чтобы совета спросить. Грозит: знать больше не хочу... Фордыбачься. Вырастили. Стариков и в тычки можно.

— Кто тебя — в тычки? — спорила мама. — Что озверел на парня? Пришел зыбку сколотить, в затоне у себя понесмел, вечером отнес бы, и все. Злыдень ты. Радоваться бы должен, дите у них... Пособить надо.

— Пособить... Одно знаешь, подолом над ними трясти. Вот и своеволят.

Прошли.

Так вот с какой ношей пробирался вчера Иван. Глупый Витька,— пожурила я его,— вечно к чему-нибудь привязывается и лезет некстати.

Мама сидела у печи за переборкой с пустым ведром в руке и, видно, забыла, что собралась за водой.

— Не будет с ней Ивану счастья, — удрученно заговорила она, когда я обняла ее и сказала, что все уладится. — Слышала, будто они хороводятся, твердила ему: «Гляди, Ванька, не пара тебе Анка нерядовская. Взбалмошная, жандар-девка, разгляди хорошенько». Какое разглядеть! Не пьяного ли и спать-то с собой уложила.

— Уладится, — настойчивее повторила я. — И со взбалмошными живут. Анна работящая зато, не гулливая. — Я легонько взяла у мамы ведро, мол, сама воды принесу.

— Иди, — кивнула она. Лицо ее прояснело, кажется, она что-то решила про себя. — У них, поди, младенца-то и завернуть не во что.

Порылась в сундуке, выбрала что-то и с узлом затрусила в Нерядово. Часа через два пришла повеселевшая, поставила машинку на стол и начала кроить и шить распашонки.

Тяжелой походкой вошел отец, половицы скрипели под ним необычно, сердито. Опустился на лавку у стола, брезгливо отодвинул локтем белые лоскуты. Натужно спросил, как там... У каланчи-то. Мама ответила спокойно, с веселой задоринкой в голосе, что все идет как положено, внучат у них теперь будет, только успевай считать: Маруся второго ждет, Зойка на сносях ходит, на горе нерядовец горланит.

— Анна-то... Что родить ей приспело, в Нерядове ни одна душа не знала. Вчера еще усад пахала, нынче утром по воду на ключ бегала... Терпелива Ефимовна. Говорю, обрачилась бы, дуреха, сперва, расписку в Совете дали, потом родить. «А что, говорит, мамынька, толк-то один». Мамынькой меня честит.

— Толк известный, — ворчит отец. Заметно, что оттаял. — Младенец-то... парнишка, значит?

— Парнишка, — с готовностью поддерживает мама. — Большенький.

— Зыбка-то... вроде маловата?

— Ничего. С угла на угол положили.

Иван увез молодую к себе в затон. Я часто бывала у них, то по дороге в Кряжовск, то на обратном пути завертывала поглядеть на племянника. Как живут супру-

ги, догадаться было не хитро: редкий их разговор не кончался злой, колючей перепалкой. Врозь они тянули в семейной упряжке. Не пара.

Иван добродушный компанейский весельчак, и в пляске отчаянный, и на гармони сыграть лихой. Женился — не переменился. Выйдет с гармошкой на берег, рванет ее так, что опояшет себя мехами, девки со всего затона табуном за ним хлынут. Ему и любо, той подмигнет, ту ущипнет.

Анна ни песен, ни зубоскальства не любила. Властная, нравом крутая, строгая, она хотела, чтобы и муж на людях держался степенно, с достоинством. Помнила она, как увивались около Ивана и нерядовские, и затонские, и даже кряжовские невесты, и считала себя удачливой и счастливой, что изо всех он выбрал ее. Одно мешало ее счастью, отравляло его: это опасение, как бы Ивана не отбила которая-нибудь из его прежних симпатий. Уверенная, что девки и бабы всей округи завидуют ей и ночей не спят, думают, как бы прельстить его, она ревновала до ярости, до сумасбродства. В затоне у нее были свои доглядчицы, и стоило ему перекинуться веселым словцом с накудрявленной конторской фифочкой или подмигнуть грудастой поварихе с буксира, Анна узнавала тотчас же и встречала его громом обличительной брани: и бабник он, и сатана блудливая, и кобель трехсучий...

На Первое мая приехали они к нам погостить. Заядлый рыболов, Иван убрел с удочкой и уселся на корме завозни.

Время обедать.

— Витюшк, — окликает мама и гремит у печи противнем, с которого только что сняла пирог. — Подь, зови Ивана.

Витька захлопнул книжку и кинулся к двери. Через минуту с какой-то застенчиво ядовитой ухмылкой встал у порога, заложил руки назад и потупился.

— Я не смею. С девкой он там. Целуются.

Анна сидела на лавке под окном и кормила грудью ребенка.

— Это чертушка мой с девкой? — вскрикнула она.— Держи-ка, мамынька. — Сунула ребенка маме и с незастегнутой на груди кофтой сорвалась с лавки. Я выбежала за ней. И верно, сидит Иван в обнимку с какой-то

кралей, оба спиной к нам. Не успели они оглянуться и руки разнять, налетела Анна и давай кулаками осаживать девку. Та завопила ребячьим голосом, что пошутили, скорее стащила с себя платок. Анна опешила: рыжий Володька. Тут и я узнала на нем свой платок и старенькую мамину кофточку.

Ничуть не смутило Анну, что стала посмешищем.

— Дура, на парнишку накинулась, — журил ее Иван. — Всегда вот так: не разобрав толком, кувалдами машешь.

— От тебя, чертушка, всего жди, — отбивалась Анна с притихшей грозой в голосе. — За тобой только гляди.

Весь обед мы пересмеивались, и тятенька на этот раз не грозил треснуть ложкой. Володька потирал ушибы на голове и плечах. Анна сидела умиротворенная, но в ее больших строгих глазах было такое выраженне, словно она хотела сказать: «Поблуди у меня. Узнаю, на месте чертушку разражу».

Чертушкой называла она Ивана походя, и когда собиралась его разразить и когда была им по всем статьям довольна. Сначала неловко было слышать:

— Мой-то чертушка отличился, премию получил.

Потом привыкли: поговорка.

Осенью забежала я к ним по пути из Кряжовска, промокшая, просвистанная ледяным сиверком. Анна увязывала узлы, лязгала железными челюстями саквояжей. На мое изумленное «Далеко ли?» с важностью ответила, что ее Ивану Астафьевичу вышел перевод по службе и с повышением.

— Ценят моего чертушку, даром что вертопрах. В городе будем жить, в Кузьме. Да вот горе: тетеха я деревенская, слова по-городски не вывезу, все у меня выняй да восей. Как думаешь, Танюша, обыкну?

— Обыкнешь, — утешила я ее. — Поглядишь, как городские...

— Это уж я выгляжу. Все моды-наряды. Чтобы чертушка меня не стыдился, перманент себе накручу. Кто знает, может, его из Кузьмы да в Москву.

Бывая потом у них, я дивилась живучести привычек. Анна и перманент накрутила, и ногти красила, а все говорила восей и выняй, как от таких словечек не отрекалась.

Дальше Кузьмы они не двинулись.

11

Когда отец читал вслух какой-нибудь роман и доходил до любовных сцен, то умолкал и поводил в мою сторону белой бровью.

— Подь в чулан, посиди.

Я противилась, говорила, что не маленькая и просвещенная в этих делах, читала и «Нана», и «Плодовитость», и «Озорные рассказы». Мама вступалась за меня:

— Чего таиться от нее: невеста.

Тятенька упорствовал:

— Потому и не должна про всякое распутство слушать, что невеста. Слово само — чуешь! Не-веста, неведающая, значит.

Так и выпроводит меня. Сижу за переборкой, по обыкновению, вяжу что-нибудь, слышу, как он бубнит что-то, но не разбираю ни слова. Я уж привыкла к этому надзору и отношусь к нему без обиды. Да и смешно обижаться: все, что тятенька считает запретным для меня, сегодня же или завтра сама прочитаю. Мысленно поспоришь с ним, скажешь: «О своей бы нравственности заботился». Даже теперь, седой, заигрывает с бабами. Идешь с ним по кряжовскому базару, так и липнет к торговкам. Вечером покрестится перед сном и начнет вполголоса маме исповедоваться, с какой он еще бабой когда-то путался, распишет, какими прелестями она его в грех ввела.

— Вроде я тебе еще про самарскую Левтинку не говорил, что-то она из головы вон. Грешен, Маня, прости. Ежели не простишь, грех на тебе будет, так в Писании сказано.

Обезоруженная Писанием, мама возмущенно отмахнется:

— Молчал бы уж, старый пес.

Он и молится, как будто со знакомыми бабенками перешептывается: то Марью Египетскую о чем-то попросит, то с Евдокией-предлетницей посудачит, то к Аграфене-купальнице привяжется. Мама иной раз прислушается к его шепоту и не вытерпит:

— Что у тебя за Аграфенушка? Не Груньке ли кокшайской молишься?

Многое о тятеньке припомнишь, что в другое время стараешься не ворошить. Будто опять о его похождениях

рассказы дяди Стигнея слышишь. Как он тогда, будто кнутом хлестнул: «Саврас без узды».

В уме невольно складывается обвинительная речь против тятеньки, прямая, резкая, но тут из-за стенки слышится его голос:

— Иди, Татьяна. Дальше ничего, можно.

Мама встречает меня сочувственным вздохом:

— И что гоняет девчонку! В жизни такое ли бывает.

В разговорах между собой все чаще поминали они, что я невеста, раздумывали вслух о женихах, о приданом. Мама допытывалась у меня, не видаюсь ли я в Кряжовске с каким-нибудь парнем, что-то, дескать, больно за книжками зачастила.

— Видается, — уличал меня тятенька. — Сам углядел. С Алешкой-кузнецом. Встретит нас на базаре, так около нее и трется, как теленок.

— Пусть трется, — говорила я равнодушно. — Меня все равно не задевает.

— Женится, само заденется.

С год назад познакомилась я в библиотеке с его сестрой. Стоим обе у стола, отделяющего нас от книжных полок, и тоскуем, чего бы еще почитать.

— А ты про благородного разбойника Жана Сбогара читала? — спрашивает она меня. — Хочешь, дам?

— Хочу,— говорю.— А я тебе — «Королеву Марго».

Хозяйка «Жана Сбогара» повела меня к себе, дорогой сказала, что зовут ее Галей и что если я увижу ее отца и брата Алешку чумазыми, так не пугалась бы: оба они знаменитые кряжовские кузнецы.

Не успела перебрать я Галины книги, как явился парень с черными пятнами и полосами на лице, крепко пахнущий дымом, окалиной и табаком. Галя сказала, что это и есть Алешка.

— Преобразись скорее,— приказала она.— Как из печной трубы вылез.

Алешка сконфуженно отступил, пофыркал под глиняным рукомойником и, как Ванюшка-дурачок в сказке, оказался красивым чернобровым парнем.

Я и после бывала у них. Жили они как раз по дороге от нашего постоянного причала к библиотеке и на базар. Люди простые, радушные. Только с Алешкой чувствовала я себя неловко. Тихий, в глаза не глядит; не заго-

вори с ним, слова не скажет. Спросишь, что, мол, Алеша, неразговорчивый? Поводит глазами по стенам, стеснительно улыбнется.

— Про что говорить-то? Все и так ясно.

— О себе что-нибудь.

— А чего о себе? Сон я видал нынче.

— Интересный?

— Ничего. Голицу будто потерял.

— Нашел?

— Не помню.

Даже Галя послушает его и сострадательно покачает головой:

— До чего же ты серый!

Несколько раз они приезжали к нам на Рябиновую Гряду. Алешка топтался около меня и молча сопел; я посмеивалась над ним и под каким-нибудь предлогом убегала. Маме он пришелся по душе своей безответной робостью. Проводим их, обязательно скажет будто подумает вслух:

— Чем не жених, Танюша! Любит тебя.

А мне обязательно вспомнится потерянная Алешкой во сне голица и выражение Гали, когда она обозвала его серым.

— И пусть, — говорю, — любит.

— А ты? Каменная, что ли?

— Для него, видно, каменная.

И тятенька приступал ко мне Алешкиным радетелем. Сидит за столом, шуршит бородой по страницам конторской книги и сверяет записи с квитками. Губы у него фиолетовые от химического карандаша. Подбивает цифры на отдельном листке и будто про себя шепелявит:

— Проведывал я насчет Лексея. Парень как следует. Работящий, пьет в меру. Что умом не быстер, так ему не ро́маны сочинять. Мой совет, сваху зашлет, да и по рукам.

Шучу, что придет сваха, я с печи не слезу.

Тятенька тоном выше:

— Прошвыряешься женихами. Смотри, не Елена Прекрасная. Таких-то берут не по красоте, а по любовной слепоте. Нашла на Лексея слепота, пользуйся. Али какого графа Монтекристова ждешь?

— И графа не жду, и Алешку не надо.

Недолгое время спустя после этого разговора мама

опять завела об Алешке, какой он обходительный, как его кряжовские девки завлекают.

— На днях встретила. Что, говорит, к нам Татьяна Астафьевна не захаживает, мы к ней завсегда с почтением. По отчеству тебя. Мечтание, говорит, имею о ней и серьезные намерения. А ежели, дескать, слух, что я пьяный куражлив, так я могу это дело окончательно завязать. Видишь, с каким к тебе расположением.

— Вижу.

— Может, убродилась, одумалась? Жила бы у нас рядышком, видаться бы стали каждую неделюшку. Времечко-то идет. День за днем — воробышком, год за годом — быстрым соколом. А ты все одна да одна. Какое с нами веселье! Лексея-то... не обнадежить ли?

— Не надо, — взмолилась я. — Лучше Рябиновая Гряда весь век.

Храбрилась я, когда говорила так, а сердце тоскливо замирало: весь век на этом бугре! А где-то шумят не виданные мною города, строятся заводы, каких у нас еще не бывало. Турксиб, Магнитогорск, автогигант в Нижнем... Великие стройки. Будь я парнем, ни за что бы дома не усидела. Подговаривала Паню, когда он школу кончил: завербуемся, белый свет поглядим. Шуткой отделался, назвал меня беспочвенной мечтательницей.

— Почвенная, — говорю. — Тебя бы столько лет на привязи подержать. Вы в училищах нахватывались ума, а я только и знала зыбки качать да вас обстирывать.

Кажется, мой упрек тронул его.

— Верно, Танюша, из-за нас недоучкой тебя оставили. Дело это поправимое: я тебе «Университет на дому» выпишу. По книжкам будешь учиться.

Пообещал — и забыл.

Думали, что, как и старшие братья, поступит он куда-нибудь поблизости на службу, но он неожиданно для всех, пожалуй и для себя, поехал в Казань и поступил в университет.

Настоящий, не «на дому».

12

Заведующие складами подолгу на Рябиновой Гряде не заживались: место глухое, красотой природы не всякого надолго привяжешь. Дела в зимнее время не было,

разве когда отпустить лесорубам топоры, пилы, рукавицы. Послабее духом которые и поскуднее умом начинали пить и куролесить по Гряде; эти особенно скоро пропадали из виду.

Приезд нового заведующего был событием в нашей однообразной жизни. Что за человек будет нашим соседом, много ли навезет с собой добра, главное, не окажется ли богатым книгами.

Ближайшим к нам складом ведал степенный бородач, говоривший медленно и веско. Заговори при нем, как хорошо сейчас за Волгой в лугах, сколько цветов, он деловито и серьезно заметит:

— Да, места скотопитательные.

В бумагах любил везде ставить номера: «В текущем году № 1929 отпущено 75 № пил...» К вечно зябнувшей бессловесной жене относился пренебрежительно, тыкал на нее большим пальцем через плечо или показывал локтем и в десятый раз осведомлялся:

— Знакомы? Супруга. Житейская попутчица.

В середине лета его перевели куда-то; в один день собрал он свои кочевые пожитки и уехал. Заместил его бритый, с тугими синими щеками толстяк Петр Ильич Муфелев. Приехал он с женой Ларисой Аркадьевной, о которой все думали сначала, что это его дочь, такой была она рядом с ним юной и свежей.

Витюшка и Проня, как-то незаметно успевшая догнать меня ростом, бегали глядеть, когда подчалила завозня с муфелевским добром, потом возбужденно рассказывали, сколько ящиков, тюков, сундуков навез новый заведующий. Володька стоял в стороне с раскрытым учебником, вид у него был такой, словно теперь ему ничто, кроме науки, не интересно: готовился в лесной техникум и важничал перед нами.

Проня висла на мне и ахала, какая модница у нового заведующего жена.

— Юбочка клеш, кудряшки, ноготки розовые...

Вите новая жительница Гряды не понравилась.

— Так, сорока. Прыгает да стрекочет.

Первые дни я только издали видела Ларису Аркадьевну. То на горе мелькнет ее цветастый платок на плечах, — цыганки любят такие; то на самой кромке горного берега маячит ее чуть различимая снизу фигурка; то стоит в одном купальнике на носу лодки и потягивается,

как Галатея с открытки, на которой Паня прислал нам из Казани новогоднее поздравление. У ног статуи размашисто подписал: «И я, как Пигмалион, ищу свою Галатею». Пришлось мне тогда допытываться у библиотекарши в Кряжовске, кто это такие. Купальник у Ларисы Аркадьевны светло-желтый, и она кажется совсем голой. Мужики неподалеку разгружают баржу, похохатывают, задирают начальникову жену непристойными шуточками. Ей хоть бы что, охота, мол, пялить глаза, пожалуйста. Оглянется, скажет что-то, должно быть, дерзкое, в ответ послышится густое ржанье, а она раскинет руки, будто вот-вот полетит, как чайка, позолоченная солнцем, и лихо кинется в воду вниз головой.

Ни разу я не видела ее вместе с мужем. Кажется, она и дома-то бывала только поневоле, чтобы поесть и ночь провести. Да если занепогодит.

Володька сквозь зубы цедил про нее:

— Артистка.

Заходило солнце. Лариса Аркадьевна оттолкнула лодку и стала неумело буровить веслами. Наверно, ей хотелось плыть по огненной закатной полосе и никак не удавалось. Увидела меня на краю пригорка, помахала рукой.

— Девочка, поедем кататься!

Я сбежала вниз, подождала, пока она кой-как прибилась к берегу, подтянула лодку и сказала, что на весла я сяду сама. По моим первым же взмахам Лариса Аркадьевна угадала опытную весельщицу, захлопала в ладоши от восторга и уж только командовала с кормы:

— На ту церквушку. Ой, какая ты сильная! Тебя как зовут?

— Таней.

Лариса Аркадьевна вскинула голову, сложила у подбородка ладони и торжественно, как со сцены, проговорила:

— Итак, она звалась Татьяной.

— Только не Лариной, — поправила я.

Она подняла брови и серьезно поглядела на меня:

— О! Да мы образованные! В каком классе?

— Ни в каком. В начальную походила немножко.

— Шутишь. А «Онегин»?

Я объяснила ей, что пятеро моих братьев читали его вслух, учили наизусть, вот и запомнилось.

— Запомнилось, — опечаленно повторила она. — Этого мало. Ну-ка скажи, как пишется ключ?

— Если шипящий на конце, — начала я и смутилась. Каверза тут была с мягким знаком, надо его писать или не надо, кто его знает.

— Вот видишь. Ты же неграмотная. Хочешь, займусь с тобой? Завтра же?

От радости я даже весла опустила. Еще бы не хотеть!

— Только... ведь вы не учительница.

— Новость! — Лариса Аркадьевна строго кашлянула и металлическим голосом пригрозила поставить меня в угол, если буду спорить со старшими. — Кто же я, по-твоему?

— Не знаю. Володька говорит, что артистка.

— Час от часу... Это который говорит? Рыжий? Откуда узнал?

— Ниоткуда. Сам выдумал.

— Пожалуйста. Выдумывать позволяю. — Она сделала рукой жест царственного великодушия. — Может выдумать, что я дочь персидского шаха. А пока не пришла вам такая фантазия, считай меня вашей — как это в деревнях говорят? — да, шабренкой. И зови просто Ларой. Терпеть не могу отчества. Скажут: Аркадьевна, сразу чувствую себя старухой. Слышишь? Ларой зови. И говори: ты. Ладно?

Чудная! Не успели познакомиться и — нате, будто вместе росли. Ну, если так хочет... Мысленно я говорю ей ты и зову Ларой. Не получается. Лара все-таки старше меня.

Вблизи она вовсе не такая красивая, как издали. Персиянкой даже выдумщик Володька ее не назовет. Что ни на есть русская. Лицо круглое, какие в деревнях и в Кряжовске постоянно встречаются, но изменчиво оно удивительно. Глаза, серо-зеленоватые, русалочьи, то припечалятся, то обдадут тебя озорным блеском. Даже вздернутый носик у нее кажется пуговка, а в иную минуту придает ее лицу такое высокомерие, прямо шемаханская царица какая-то. Еще удивителен у нее голос, гибкий, с печальными грудными нотками.

Мы давно уже сбились с закатной полосы, да и солнце будто расплавилось на зубчатой стене заволжского бора и золотом растеклось по стволам сосен. Из-за не-

рядовской косы прогудел пароход, чтобы мы не мешались. Я поворотила к своему берегу и приналегла на весла. Теперь Лара глядела на померкший горный берег, развалины барского дома и темный сад, похожий отсюда на крепость. От толчков лодки она мерно покачивалась взад и вперед и также мерно стала читать стихи:

Погасло дневное светило,
На море синее вечерний пал туман.
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан...
Я вспомнил прежних лет безумную любовь
И все, чем я страдал, и все, что сердцу мило...
Желаний и надежд томительный обман...
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан.

И вдруг расплакалась — не всхлипывая, не хватаясь горестно за голову, просто блеснули в ее открытых глазах слезы и полились, полились. У меня совсем вылетело, что мы знакомы не больше часа, что она старше меня. Сами собой вырвались и Лара, и ты.

— Лара, — говорю, — что ты? О чем ты?

Улыбается. Смигивает слезы, ладонями вытирает лицо.

— Так. Люблю стихи. «Желаний и надежд томительный обман...»

Какие обманутые надежды напомнили ей эти стихи, допытываться было неловко. Подожду, не расскажет ли сама.

Лара пришла чуть не с восходом солнца, так не терпелось ей скорее развеять мрак моего невежества. Из учебных пособий она захватила с собой «Гнезда, норы и логовища» Джона Генри Вуда и «Похитителей бриллиантов» Луи Буссенара. С тятенькой и мамой она заговорила так непринужденно, словно давно их знала. Мимоходом чмокнула Проню в щеку, потрепала Вите вихры. На Володьку покосилась насмешливо, наверно, хотела спросить, что это ему взбрело назвать ее артисткой, но промолчала. Переглядела все фотографии на стене, расспросила о старших братьях и без предисловий объявила, что Таню обязательно надо подучить.

— Двадцатый век, прогресс, а она слово ключ не знает как написать. Конечно, все школьные предметы и я вряд ли, но... кой-что. Вроде ликбеза.

Тятенька заволынил было, что ученье мне ни к чему: девку замуж надо, а не прогрессами башку забивать. Лара повернулась к нему и наставительно заметила, что такие речи были бы к лицу только отсталому феодалу времен Пипина Короткого.

— Возражаете? Будем заниматься у нас.

— Это еще куда! — всполошилась мама. Заметно было, что соседка чем-то не приглянулась ей, наверно, своей развязностью. — Идите вон в наш закуток и ликбезничайте, коли охота припала.

Спальный чулан тятеньки с мамой стал нашей классной комнатой. Лара положила на стол книги.

— По этой, — начала она учительским тоном и ткнула пальцем с розовым ноготком в «Гнезда, норы и логовища», — зоологию будем учить. Вообще биологию. Кой-что я сама добавлю. По Буссенару — правописание. Читала?

— Эту? Нет.

— Кстати и прочитаешь. — Лара уселась на тятенькину постель, раскрыла «Похитителей бриллиантов» и пробежала глазами первую страницу, вторую, третью. — Это пропустим. Начала в романах всегда неинтересные: природа, погода... Вот с этого начнем: «Белая девушка была замечательной красоты... Ее расширившиеся от ужаса глаза увидели труп... — Отец! Отец! — душераздирающим голосом закричала она...» Теперь разберем грамматику и синтаксис. — Лара принялась вытягивать из меня хоть какие-нибудь догадки о подлежащих, сказуемых, падежах... Познания мои были так малы, что она стала разочарованно позевывать. Правда, запасов и ее учености хватило не надолго. Пустилась объяснять мне, какие бывают склонения, и так, бедная, запуталась, что покраснела. В таких случаях все учителя выкручиваются одинаково.

— Это очень сложно, и ты еще не поймешь. Потом. Давай биологию. Био — слово греческое, значит жизнь. Вообще все ученые слова греческие. Есть и латинские. Итак, био — жизнь, отсюда биография, биосфера и еще разные био. Жизнь очень разнообразна. Чтобы в этом убедиться, возьми Вуда и посмотри картинки. Сколько разных зверюшек! Читать ее скучно, о животных лучше писал Сетон-Томпсон.

Пока я листала Вуда, Лара скучающе глядела в ок-

но на Волгу, на тесовые кровли складов, на черную, только что пришвартованную баржу.

С крыльца сошел тятенька с парой удочек и зашаркал к реке. На Лару вдруг нашел стих рыбачить.

— Науки пока хватит, не все сразу. — Она захлопнула Вуда перед моим носом и потащила меня из-за стола. — Пойдем и мы удить. Поучи, я сроду не уживала.

Книги оставили у нас. Я отыскала на сеновале удочки, брошенные туда кем-то из старших братьев, нарыла за двором червей. Чтобы не мешать тятеньке, мы уселись на лодке шагах в десяти от него. Теперь я стала учить Лару, и, кажется, так же безуспешно, как и она меня. Насаживать червяка, даже дотронуться до него она отказалась, брезгливо морщилась, когда глядела, как я ей делала насадку.

Закинули удочки, я сделала знак своей ученице, чтобы не шумела, но разве она могла спокойно усидеть! При каждом шевелении поплавка вскрикивала, поминутно окликала тятеньку, везет ли ему, не зацепил ли он сома или налима. Из-за нас и у него не было клева. Кончилось тем, что мы забыли об удочках. Лара притихла, погрустнела. Зачем-то спросила, не принуждают ли меня замуж, — видно, вспомнила тятенькины слова. Убежденно, от сердца, сказала:

— Не любишь, не выходи.

Я ответила ей стихом из «Онегина»:

— «Как быть? Татьяна не дитя». Сама-то вышла.

— К сожалению.

— Твоему?

— Обоих. Чужие мы. — Лара прислушалась. У распахнутых дверей склада недовольно гудели нерядовские мужики, разгружавшие накануне баржу. Над их гомоном взвивались раздраженные выкрики Петра Ильича. Словно от внезапного удушья, Лара судорожно вздохнула и потерла горло. — Ужасно противный голос. Терпеть не могу.

Прислушалась и я.

— Обыкновенный.

— Противный, — гневно повторила она и притопнула ногой. — Отвратительный скрипучий голос. Физиономия самодовольная, лоснится... Ненавижу. И все его ненавидят. Сначала-то с доверием: вежливый, бонжур. Потом и начнет оплетать. Думаешь, зря мужики на него? Пет-

рит что-нибудь. Махинатор-комбинатор. Жить не может, чтобы к рукам не прилипало. Гнали уж его за это, неймется. И сюда — из любви к матушке-Волге, что ли? Как же! Очень она ему нужна. Меня уверяет: на время. Отсюда, говорит, прямо в Москву, там какие-то «наши» хлопочут, место подыскивают. Найдут, у него везде «наши».

— Другая бы ликовала: в Москве будете жить! — а ты клянешь, — сказала я с недоумением. — Он же и для тебя старается.

— Для меня! — Лара презрительно фыркнула. — Когда-то и мне так казалось...

Почему-то со мной даже случайные знакомые любят поразмышлять вслух о своей жизни, — верно, угадывают во мне терпеливую слушательницу. Нашел исповедническ ий стих и на Лару.

Потихоньку вытаскиваю удочки, сматываю, все равно не до ловли. Слушаю и будто еще одну книгу читаю, и она волнует меня, эта книга человеческой жизни, искренняя, сердечная, неповторимая.

— Ведь я же подло делаю, что живу с ним, — казнилась Лара и с удивленно-страдальческим выражением спрашивала себя: — Неужели не видела, что чужой он, что я как выгодная вещь нужна ему, как деньги. И чем околдовал? Намного старше меня. Прежней на двоих платит. Это бы ладно. У меня своя дорога была, любимая. В Цететисе училась. Центральный техникум театрального искусства. Спектакли в рабочих клубах ставили. Ларису однажды играла в «Бесприданнице». Монолог там у чугунной решетки над Волгой... Как хлопали! — Стиснув на груди переплетенные пальцы, она заговорила словами бесприданницы:— «Я любви искала и не нашла. На меня смотрели и смотрят как на забаву. Никогда никто не постарался заглянуть ко мне в душу, ни от кого я не видела сочувствия, не слыхала теплого сердечного слова. А ведь так жить холодно...» — Голос Лары зазвенел такой душевной болью, что у меня выступили слезы. Артистка!

С минуту я не могла говорить от волнения. Скрепилась, чтобы не расплакаться, и спросила, почему она не вернется на эту настоящую дорогу.

— У тебя же не семеро по лавкам.

— Не семеро, — уныло отозвалась Лара. Голос ее и

глаза словно потухли. Она согнулась и опустила руки между колен. — Когда выходила, он так и сказал: чтобы только детей не разводить. Я за шутку это сочла: замуж — и чтобы детей не было. Все равно что весна пусть будет, а зелени, цветов не надо. Бездетные — это больные, паралитики, эпилептики разные. Может, оттого, что я детдомовская, потом вожатой была, полюбила ребятню. И вдруг — не разводить. Как о кроликах.

— Видела, что врозь глядите, а вышла. Или как в песне: «Лестью сердце покорил, подарками задарил»?

— Все было. Это еще когда я в Цететисе училась, на последнем курсе. Приехала на каникулы к дальней-предальней тетке. Петр и зачастил к нам. То цветы мне, то серьги с рубинами... Ухаживал — не знаю, у какой бы гордячки голова не закружилась. Когда мы к нему в гости, за стол усадит — чего только на нем нет! Шоколад, заграничное вино, черная икра — все, говорит, из торгсина. Квартира — подумаешь, что музей. Картины в золоченых рамах, в шкафу из красного дерева за стеклом — лиможский фарфор. Пол в коврах, ступаешь, как по воздуху плывешь. Что я до того видела? Голые стечы в детдоме, потом в общежитии, вот и все. А тут чертог. Согласись — будешь его хозяйкой. Тетка зудит: выходи! Большой чин в пароходстве, собой видный, в делах оборотистый, какого тебе еще королевича ждать. У самого глаза масленые, мурлычет, русской красавицей зовет. Ты, говорит, для моего престижа будешь как сень пальмы для безвестного ручейка. Сдалась. Театральное ученье бросила. Поженились — и роем мужнина родня налетела. Отец, братья, дядья... До того ни одной души не видела, а тут они — каждый вечер. Гвалт подымут и все злобятся; того в руководство не выбрали, того чином выше не хотят ставить, у того сын на экзамене в институт срезался. Шушукаться начнут, как этого несчастного юношу все-таки протащить в институт, кому сунуть взятку, — не в армию же ему идти. Ну — жуки! — Лара возмущенно встряхивала кудряшками, а мне казалось, что это она играет роль недовольной.

— Шла бы назад, в общежитие, — сказала я. — Или... привыкла по коврам плавать? Та дорога не тянет?

— Что ее поминать, ту дорогу, — шепотом отозвалась Лара. — Сначала ребенок привязывал. Был он, мальчик. Только странное что-то: будто чужой. Умер от

дифтерита. Поплакала, как если бы у соседей умер. Уйти решила. Куда? К режиссеру драматического торкнулась. Почитайте, говорит, что-нибудь. Выпалила в него монологом Джульетты, когда она в саду ждет Ромео. По глазам вижу, если и была у меня искорка, так погасла. Старая истина: искусство не прощает измены. Не простило и мне. Что оставалось? Престиж Петра прикрывать... как сень пальмы. И прикрывала. Чтобы угодить начальству, он — все козыри в ход. Я у него козырной дамой была. Так и шло. Я переживала, Муфелевы действовали. Сходятся, галдят, комбинируют, как что-то провезти, перепродать. На какой-то комбинации осечка. Застукали. Потом Петр каялся мне, что кого-то недоподкупил, и всего-то две тысячи пожалел. Следствие. Попросторнело у нас в квартире, бутафории поубавилось. На суде вывернулся, а с места — в шею. Ладно, что хоть здесь приткнули. Тюрьмой пахло.

— Ну и пусть бы на баланде перевоспитывался. — Я хотела сказать это шутливо, но не могла сдержать раздражения. Меня разбирала злость на Лару: умная, талантливая — и прицепилась к какому-то слизню.— Не любишь своего Бонжура, так брось. Хочешь, завербуемся? И я бы тоже. Выберем мы с тобой самую великую стройку...

Лара потупилась и качнула головой.

— Какая из меня строительница! Разве уж когда в Москву переедем, так что-нибудь...

Затею с моим ученьем она не бросила и прибегала к нам каждый день. Я уже знала, если у нее в руках «Фрегат Паллада» или «Вокруг света в восемьдесят дней», будет урок географии; «Ричард Львиное Сердце» или «Брынский лес» предвещали историю, «Плутония» или «Маракотова бездна» — археологию.

Приехал на каникулы Паня. В одной руке мандолина, в другой непомерной тяжести чемодан: мы с Витюшкой вдвоем чуть отделили его от полу. В нем оказались какие-то банки, ящик с блестящими кнопками и черный картонный круг с железным ободком. Радио. Такой круг я видела в Кряжовске в библиотеке. От восторга обняла Паню, умница, знал, чего здесь не хватает.

В тот же день от дома Петра Ильича к нашему протянули на шестах проволоку. Лара суетилась около Пани. Крикнет он Володьке или Витьке, чтобы подали ему

молоток, изоляторы, еще что-нибудь, Лара спешит подать сама.

— Примите, Павел Астафьевич.

— Ой, боюсь, Павел Астафьевич, упадете.

Паня поставил ящик на столе в чулане, поколдовал над ним, и вдруг из черного круга полилась песня: женский голос, чистый, глубокий, хватающий за душу печальной нежностью, пел «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан». Мама ошеломленно крестилась.

— Господи, чудо-то!

Тятенька тыкал пальцами в кнопки приемника с таким видом, словно ему эта штука давным-давно была не в диковинку.

— Не чудо, мать: наука. Вроде шарманки, только крутить не надо. А эта сковородка, Павел, и речь может вести? Или одно тру-ля-ля?

Как раз в эту минуту черный круг звучно сказал:

— Говорит Москва.

Оказывается, все может.

В двери переламывается дядя Стигней и манит согнутым пальцем маму, окает.

— Ондревна, Павел, слышь, машину-самозвон привез? Дозволь слухну.

Тут же и тятенька, но Стигней, по обыкновению, обращается к маме, потому что считает ее в нашей семье самой главной.

— Иди, иди,— радушно и нараспев зовет мама.— Верно, что самозвон. Послушай.

Лара тоже тут, ей обязательно надо знать, какое напряжение в батареях, где плюс, где минус, и Паню зовет уже не по имени-отчеству, а Павлушей.

Увидела на стене мандолину, легонько тронула струны.

— А у меня гитара висит, бедная, и в руки не беру. Одной скучно.

Паня настраивает приемник и с лукавой прищуринкой косится на Лару.

— Гитаре скучно?

— Мне, — кокетливо ужимается Лара и вдруг словно укалывается о сердитый взгляд мамы. Равнодушно, с великопостным выражением добавляет: — Одной играть скучно.

Вечером вдали на пригорке под темными, как стога,

рябинами долго ворковала гитара и словно изнемогала под напористой трелью мандолины.

Сыгрались.

Всего с неделю назад Паня писал, что дома собирается основательно поработать, перевести с немецкого сочинение по теории вероятности. И правда, на столе в чулане разложил было ученые трактаты, словари, бумагу — и больше не притронулся. Прибежит Лара, с минуту посидит со мной, спросит что-нибудь из прежних уроков и умычется с Паней рыбу удить.

Как-то разлетелась к нам в новом платье с голыми плечами, на шее бусы блестят-переливаются. Мама руками всплеснула.

— Это для кого вырядилась? Голая чуть не до пояса. Забыла, что мужняя жена. Охальница.

Лара снисходительно улыбнулась, взбила кудряшки перед зеркалом в простенке.

— Мода такая, Мария Андреевна.

Мне сказала, что заниматься сегодня жарко.

— Мы потом, Танюша. Поедем за Волгу, грибы, говорят, пошли.

Мама настрого запретила мне ехать.

— Рубаху Витюшке надо дошить. Гряды полоть.

— Тогда... — Лара вызывающе пощурилась на Паню. — Мы с Павлом Астафьевичем.

— И ему некогда, — отрезала мама. — Писать чего-то собрался, пусть пишет.

Тятенька, зашивавший наметку у окна, искоса поглядел на Лару, крякнул.

— Поезжай, Панька.

— Нечего ему там,— неуступчиво возразила мама.

— Найдет чего. Пошарит. Не зевай, Панька. Я в твои годы...

Паня, казалось, не слышал, побрякивал на мандолине.

— Хватит, — оборвал он родительскую перепалку. — Не семь по пятому.— Повесил мандолину на стену и вышел за выпорхнувшей Ларой.

Мы с мамой накинулись на тятеньку, стыдили, ругали сводником.

— Кто их сводил? Сами, — оправдывался он. — Такую ягодку и не хошь да щипнешь.

Мама устало отмахнулась:

— Поди втолкуй ему, седому козлу.

Из-за Волги наши гулены вернулись под вечер. Лара вальяжно шла домой, помахивая пустой корзиной. Павел отнес на двор весла, постоял, наверно, подумал, стоит ли просить у мамы поесть. Видимо, решил, не стоит, пилить начнет, и полез на сеновал спать. Я тоже забралась туда и пристала с попреками: хорошо ли на глазах у мужа таскаться с Лариской, не совестно ли.

— Вовсе не на глазах, — лениво возражал Паня. — Бонжур у нее в Москве, место себе выколачивает. И при чем совесть? Ларка сама... Помнишь у Шолохова: сучка не захочет...

— Доказал. Сучка... Себя-то с кобелем зачем равнять?

Паня позевнул, давая понять, что надоели ему наши нравоучения.

Утром Лара, по обыкновению, заявилась с книжкой, с порога крикнула мне, что сегодня будет история.

— Нечего тебе у нас истории разводить,— оборвала ее мама и, поворотив лицом к двери, вывела на крыльцо. — К своему законному ступай.

Лара пятилась с притворным смехом, спускалась с одной ступеньки на другую и шутливо уговаривала маму сменить гнев на милость.

— Добрая, милая Марья Андреевна, ну за что вы так?..

Мама пропятила ее с крыльца и погрозила встретить в другой раз кочергой.

— Сама знаешь за что. Смутительница.

Лара перестала бывать у нас. Выйдет на пригорок, сядет под рябинами, и Паня туда тянется. Потом пропадут где-то на горе в зарослях орешника или, глядишь, на лодке качаются на волнах от парохода и поют на два голоса «Есть на Волге утес»... Хорошо они спелись. Песня все дальше... На ту сторону правят.

После отъезда Пани больше месяца Лара безвылазно сидела дома, наверно, утешалась книжками. Мне было скучно без ее веселой, живой болтовни, так и подмывало сбегать к Бонжурам, но боялась рассердить маму.

За это время Володька поступил в лесной техникум в Кряжовске. Особенно был он рад, что дали место в общежитии, не надо будет ютиться приживальщиком у Маруси.

Наши последыши — Витя и Проня — все еще бегали в начальную нерядовскую.

Дождливый осенний вечер. Мы все жмемся ближе к свету — настольной лампе из синего стекла на тяжелой железной подставке. Я щиплю шерсть, мама прядет. Тятенька гудит — читает вслух, в пятый наверно раз, «Ледяной дом». Витя глядит в потолок, держа хрестоматию между колен, и зубрит вполголоса: «Прощай, мой товарищ, мой верный слуга, расстаться настало нам время...» Проня шмыгает носом над тетрадкой, придвигается ко мне и жалобно тянет:

— Тань, не множится.

Я припоминаю, как решали задачи на умножение старшие братья, и потихоньку подсказываю ей.

Маме скучно слушать одно и то же, история несчастного Волынского, погубленного коварными иноземцами, давно памятна ей от начала до конца.

— Отец, другое бы что почитал, — взмолилась она. — Коли нечего больше... ты бы сходила, Таня, к этой... канарейке. У них книжек-то, чай, горы. Обидела я ее тогда, скажи, винюсь, пусть не гневается. И к нам, скажи, дорога ей не заказана.

— Скажу, — пообещала я как можно спокойнее, хоть сама готова была запрыгать от радости.

К Ларе пришла, выждав, чтобы застать одну. Обрадовалась она мне бурно, вскрикнула, обнимать кинулась.

— Думала, совсем вы меня... Ой, истомилась, устала я... От тоски роли опять стала разучивать. Сама начала пьесу писать, вот до чего. — Вдруг испуганно спохватилась:— А мама твоя знает?

— Что я у тебя? Сама послала. Винюсь, говорит, что обидела тогда Лариску. Али, говорит, она виновата, что ее все любят.

— Уж будто так и сказала?

— Ну не точно...

Сначала я принесла от нее книжек, потом она и сама стала забегать. Мама была с ней покровительственно добродушна, шутливо называла канарейкой.

Наказанье было остаться с Ларой наедине: тискать меня примется, целовать.

— Пусти, — говорю, — бешеная, месила бы своего Бонжура.

Поморщится.

— Противно. Чужой. А от тебя немножко Павлушей пахнет.

Расспросит, что пишет, ее не поминает ли.

— А ты бы сама написала.

— Думаешь, не писала? — Голос у Лары обиженный. — С глаз долой... Молчит.

Легкий у нее характер; между слезами и смехом разве маленькое раздумье уберется, и то не всегда. Нарядами любит тешиться. То в сером шерстяном платье к нам придет — залюбуешься; то в белом, будто сейчас из-под венца, то в черном бархатном, строгая, как послушница.

Украшения начнет примерять — бусы, броши, обручи с дорогими камнями на голову — я только охаю: буржуйка, золотища-то!

— И любит тебя Бонжур! Все он надарил?

Надменно поведет носиком, притопнет, слышать, мол, о нем не хочу. Изукрасится всякими брошками, сережками, ресницы подведет, стоит передо мной как сказочная царевна. Пощурится в ручное зеркальце с белой костяной ручкой.

— Хороша? — И вздохнет. — А любоваться некому. — Бросит зеркальце на стол, повалится во всем шелковье на постель и навзрыд разревется. Мама прибежит, начнет утешать ее, посадит рядом с собой, обнимет.

— Искорка ты горючая, зажечь-то тебе здесь некого, самоцветный ты камешек... Хоть бы ты Петру детей народила.

Лара огрызнется сквозь слезы:

— Да пропади он...

— Хоть бы дело он тебе какое нашел.

— Было бы, сама бы нашла. Улус какой-то.

Наверно, не поняла мама, что за улус, покладисто согласилась.

— Улус. Глухо живем.

В конце ноября влетела она к нам в неурочный час, раным-рано. Тиснула меня, еще сонную, с налету чмокнула маму, обняла тятеньку, — он только слез с печи и брел на двор, одной рукой поддерживал исподники, другой сослепу шарил, как бы на что не наткнуться. Ликующим голосом выкрикнула, что уезжает. В Москву. Меня прижала к себе еще раз, над ухом прошелестело

имя Пани. Сумасшедшая, все еще Павлом бредит. Шепнула что-то она так торопливо, что я не разобрала.

В Москве, видно, закружилась, хоть бы открытку нам когда бросила. А я так долго помнила ее, обижалась, что не пишет, прощала...

Милая ветреная Лара. Самоцветный камешек... Будто камешек в людском море и канула.

13

Ни одна новость в мире теперь нас не обходила: тятенька часами сидел в чулане перед черным кругом радио и слушал все подряд — последние известия, оперы, беседы о классовой борьбе в переходный период, стихи, передачи с великих строек... Когда ложились спать, он надевал на голову стальной обруч с наушниками и укладывался рядом с мамой.

Иногда слышим из чулана среди ночи:

— Капиталисты-то, мать, кряхтят. Из кризиса не вылезают.

Помолчит немного и опять:

— Германцы-то! К бомбам рвутся. Как бы они, мать, не того...

Мама полусонно возмущалась:

— Да спи ты, полуночник!

Разговор у тятеньки стал внушительнее, политичнее. Раньше сядем обедать, без воркотни не обойдется, что кто-нибудь из нас, я или Витюшка, лба не перекрестили. Теперь ему не до этого. Не спеша заведет о язвах капитализма, о двух системах.

— У нас что? Социализм. В миске-то не густо, а ничего, жить можно. Надеяться есть на что: коммунизм впереди. А что впереди у капиталистов? Хавос. — Оглядит нас, не хихикаем ли над его рассуждениями, и подведет капитализму черту: — Отжившая реформация.

Мама тоже приохотилась сидеть около черного круга, а я так даже завидовала тятеньке, что он завладел наушниками и может слушать хоть до утра.

Днем Проня с Витюшкой в школе, отец на работе. Складом он уже не ведает: годы сказываются, и зрение сдает и слух; ему платят пенсию, но стерпеть, чтобы не торчать на складе, не вмешиваться в дела, не учить, он не может, это он и называет работой.

Мы с мамой одни. Она прядет, я вяжу что-нибудь: у нас даже сноxи — Анна, Маруся, Зойка — ходят в носках моей вязки. Жужжит веретено, а черный круг поет, рассказывает, ведет в театр. Вообразишь себя в высоком-высоком зале, опоясанном ярусами лож. Дают «Князя Игоря». Слышишь голоса знаменитых певцов. Я уже знаю, что когда в зале подымается шум, это — антракт, зрители выходят в фойе. Выхожу и я. И вдруг вижу Лару, мы вскрикиваем, обнимаемся. Бонжур глядит на меня косо, ну и пусть. А может, она сделает вид, что не узнала меня и мимо пройдет? Мало ли что было, Москва не Рябиновая Гряда. Вздыхаю: конечно, мимо.

Концерт. Я так уже понаторела в голосах, что без дикторских пояснений узнаю и Барсову, и Максакову, и Обухову; о Лемешеве и Козловском или Михайлове и не говорю, эти самые у нас любимые.

Маме особенно по сердцу народные песни Ковалевой и хора Пятницкого. Петь она любит до сих пор: возится ли у печи, прядет ли, в огороде ли копается, слышишь, тоненько выводит какую-нибудь хороводную или свадебную. Когда польется такая песенная старина по радио, мама начинает подтягивать, и я прилаживаюсь. От печальной песни запечалится, Санечку припомнит, в голодный год схороненного, вслух раздумается, как ее старшие сыны живут.

Миша грудью слаб, прихварывает, от Зойки мало ему радости. Диковатая, может, и любит его, да поди разгадай, ежели в запуганной бессловесности окаменела.

Иван по году на Гряде не бывает: из Кузьмы не наездишься. Прибыток у него в семье: двойню родила Ефимьевна. Как-то впятером приезжали. Старшенький с игрушечным ружьем носится. Осенью в школу пойдет. Уж сколько живут вместе, а все еще Анна — в дело, не в дело, покоя не дает Ивану, зудит, что у него на уме одни девки. Тот привык. Слушает, посмеивается.

Сергей большим чином в Кряжовске стал, в исполкоме председательствует. Понятно, что и заботы у него больше. Главную улицу — до самой пристани — камнем вымостил. Легкое ли дело такую прорву песку насыпать, голышей набрать, один к одному уложить. Каменную пекарню выстроил, на окраине кожевенный заводишко поставил. Тятенька хорохорится: орел у меня сын, вишь,

какое ему доверие. Одно смущает: церкви в Кряжовске закрывают. Само собой, что тут не одна председателева воля: людей выспрашивают, как, мол, почтенные миряне, может, эти божьи хоромы под школу отдать, под клуб или еще подо что полезное? Голосуют. Миряне за полезное руки тянут, раз, мол, всей жизни переворот вершится, и тут его не миновать.

Я и сама видела, как с одной колокольни в Кряжовске колокола сымали. Кругом толпа, ребятишки облепили церковную ограду, за железную решетку цепятся. Сначала камни сверху летели — мужики проем пошире выбивали кувалдами, потом на канатах вниз по стене пополз главный колокол. С другой стороны колокольни понемногу отпускали канаты. Из проемов кричали:

— Берегись!

— Подайсь назад!

Снизу откликались, что не слепые, видят, но подальше от колокольни пятились.

— Махина. Триста пудов.

— Грохнется ежели да прокатится по хребтине, и хоронить нечего будет.

— Какой-то, слышь, купец отливал?

— Ердяков. Бакалейщик. О ту пору шутили: отлил Ердяков из наших медяков.

Рядом со мной старик, обеими руками опирается на длинный посох, белая борода окутывает его руки и чуть не половину посоха. Глядя на колокол, старик пророческим голосом грозит божьим судом:

— Бог-то терпит, терпит да и возъярится. С ём шутки плохи. Напустит, как в двадцать первом, сушь, пожжет хлеба...— Колокол зацепился краем за выступ колокольни и начал опрокидываться. Старик вскинул палку и тоненько, надтреснуто закричал, чтобы тянули назад.

— А вы там, вверху, раззявы снулые, меренье, чего глядите. Шестом его, шестом подталкивайте, он и пойдет как надо.

Только опустился колокол наземь, люди окружили его, дивились медной громаде.

— Здоров.

— Опять на медяки ежели, тыщ десять выйдет.

Смельчаки полезли на колокольню и на большой купол кресты сымать.

Дома у нас что ни день споры. Тятенька горой за церкви, в обиде он и на Сергея.

— Коли власть ему дадена, мог бы крестоломов этих и осадить.

Мама тоже его не хвалит. Я говорю, что Сергей тут неповинен: прихожан стало всемеро меньше прежнего, чего же церквам пустовать.

— Ну да нечего,—поддакивает мне Витька,— клуб когда еще выстроят, а тут сцену да стульев наставить, и готово.

И Проня заодно со мной.

— Живые картины будут показывать,— говорит она и опасливо следит за тятенькой, не хватается ли за ремень.

Скоро привыкли, что в одной из кряжовских церквей заливается школьный звонок и гулко отдаются под сводами ребячьи голоса; в другой жужжит волшебная машина — зовут ее кинематограф — а на белом полотнище целые романы в лицах: приключения багдадского вора, закройщика из Торжка, печальные истории смешного неудачника Чарли Чаплина, потешные выходки Пата и Паташона; в третьей репетируют «Любовь Яровую» и бывший дьячок этой церкви, горбатый, в очках, с реденькой бородкой, играет сторожа Чира.

Привыкла и мама. Кой-как я уговорила ее сходить со мной в кино. Крутили «Потомка Чингиз-хана». Картина показалась ей ни с чем не сравнимым чудом. Люди скачут на конях, стреляют, как есть живые, только и разница, что не слышно.

С тех пор и повелось: приедем с мамой в Кряжовск, получим хлеб и что положено по карточкам, я сменяю книжки можно бы и домой. Мама глядит на самодельную афишу на заборе и с заминкой спрашивает, что тут написано. Читаю вслух, что идет новая картина «Праздник святого Йоргена».

— Эту поглядеть надо,— решает мама,— про святого. Что сумки у нас, чай, ничего?

— Ничего,— говорю.— Не в первый раз. Да и знают, кем ты председателю Залесову приходишься. Али не замечаешь, с каким к тебе уважением?

В притворе церкви я покупаю билеты. Пока стою в очереди, мама оглядывает стены и своды, замазанные мелом; отыщет чуть проступающий лик святого и кре-

стится на него. Погаснет свет в зале, опять покрестится. Мне объяснит сконфуженным шепотком:

— Это я — чтобы лента не рвалась.

Сергея больше не корила, что с его согласу церкви на мирские дела приспособили. Видно, уж быть тому.

14

Прислушаешься, о чем это мама в предсонный час так подолгу с богом шепчется? Сначала попросит, чтобы Витюшке и Проне задачки легко давались, Володьке — чтобы на практику поближе куда послали, на Кокшагу бы лучше, места знакомые. О старших подробнее втолковывает, кому помога нужна, кому прощение.

— Михайле здоровье, господи, укрепи, внуши ему табачище окаянный бросить. Ивану терпенье дай не перечить Анне, любит глупая баба без толку горло драть. Сергею не почти за большой грех безверие его, партийным вера не положена, а что до церквей, так в Кряжовске еще четыре остались, да и в те народ валом не валит, больше на живые картины прут. И я, грешная, с Танюшкой иной раз... Чай, не велика вина, все по твоей воле, кабы ты не захотел, и кино бы не выдумали.

Обо мне богу не докучает, живет, мол, дома — и ладно.

Дойдет до Павла черед, уж она шепчет-шепчет, целый доклад сделает. Сначала расхвалит его: и душой-то он добр, и умом не обижен, потом в критику ударится — и легкомыслен парень, и беззаботен, и волей нетверд.

— К делу прилежания бы ему, степенности. Большой, а будто шутя живет, одни тру-ля-ля на уме.

Невдогад маме, что я все слышу. Днем нарочно заговорю о Пане, она и мне теми же словами пожалуется:

— Никакого у него к делу прилежания, все бы труля-ля ему. Учится без запинки, с лету подхватывает, а за сердце его ничто не берет.

Ученье Пане и в самом деле давалось легко, школу кончил первым учеником. В университет поступил — словно так, мимоходом зашел, понравится — поучусь. Кажется, не было ничего на свете, что могло бы его заставить серьезно задуматься. На все смотрел либо равнодушно, либо со снисходительной усмешкой.

— Ученым будешь, Паня,— говорила я ему, когда он в первый раз приехал на каникулы.— Прославишься.

Он улыбался, будто слушал болтовню пятилетнего ребенка.

— Для славы, Танюша, талант нужен, терпение. Выбрал одну тропу, ее и держись. А я не могу. Мне по множеству троп охота идти. Спросишь, нравится ли мне математика? Да. Очень. Поэзия отвлеченной мысли. А вот брожу по лесу — биологом стать охота. На звездное небо погляжу — призвание чувствую к астрономии. Послушаю оперу — да я же для музыки рожден, мелодии так и вьются, только лови и записывай.

Может, и верно, для музыки рожден Паня. Ноты выучил лет десяти, самоучкой, чуть только учительница подсказала. Как дивились мы, когда он разлинует лист, раскидает по линейкам хвостатые точки и поет, сам себе рукой машет.

— Так сочиняй музыку,— подсказываю ему.— Лови мелодии, записывай.

Уныло пожимает плечами.

— Ловил, Танюша. Поймаешь, а это уж звучало где-то. Конечно, можно. как об одном композиторе говорят, с миру по нотке... Для настоящей музыки корпеть надо. Ни к чему.

Любит он это «ни к чему». Ни к чему слава, ни к чему корпеть. Спорю с ним, доказываю, что так только Обломов рассуждал. Никакого толку. Будто щебетание птахи слушает, улыбается снисходительно и беспечно. Вяло, с ленцой, признается, что его вполне устраивает учение стоиков.

— Это еще кто?

— Философы.

Каких-то стоиков откопал. Наверно, учили, что лучше стоять на месте, чем идти. Спокойнее.

На каникулы приезжает то с одним приятелем, то с другим. Тоже, видать... стоики. Анекдотами тешатся, зубоскалят. О своей науке хоть бы словом перекинулись.

Паня был дома, когда тятенька расстроенный приехал из Кряжовска с базара.

— Мать, ну-ка, что: Лексей-то женился. Какого жениха упустили! Сам деньги кует. Конь с подковой, Алешке целковый. Татьяна бы за таким мужем барыней жила. Раздобрела бы, а то как веретено, ущипнуть не за что. Привереда! Какой жених уплыл!

— Пусть плывет,— равнодушно заметил Паня.— Не

по душе Танюшке, и поминать нечего. Кончу, мы с ней вместе уедем. Учиться будет.

Тятенька свое: на что девке ученье?

— Мужу угодить да детей народить науки не требуется. Может, вдовцу одному в Кряжовске шепнуть? Не больно стар. И ребятни немного: двое.

Я тоже свое:

— Ни вдовца, ни кузнеца не надо мне. Не пойду.

— Ну, как хотитё.— Тятенька махнул на нас обеими руками и с обиженным видом отвернулся. Живите, мол, как знаете, после каяться будете.

Уехал Паня, и опять нет-нет да и начнет тятенька подъезжать с каким-нибудь вдовцом.

— Слышь-ка, Татьяна... В Кряжовске сказывали. Вдовый, неподалечку от пристани местожительствует. Насчет бабенки имеет помышление. Может...

— Полно болтозвонить-то,— осадит его мама.— В домовину твоему жениху пора.

— Ну-к что,— упирался тятенька.— Домовины никому не миновать. Побывшится, дом останется. А коли останется, Татьяне достанется, оно складно и выходит. Татьяна, глядишь, опять невеста, как новый червонец. Дом хороший, я уж обглядывал. И место славное.

Мама обнимает меня, словно вдовец уже стучится в дверь.

— Не отдам супротив ее воли. Ополоумел! То долбил, чтобы с нами век вековала, то хоть за упокойника, а выходи. Еще намаемся без нее. Кем у тебя подштанники стираны, кем весь дом обихожен, огород вскопан, засажен, водой ключевой полит? Вот то-то. И не чалься к Тане. Цыганка ей писаря нагадала и любовь безызменную. Пусть писаря и ждет.

— Мне что! Хоть герцога ждите,— язвил тятенька.— В золоченой карете прикатит.

Я уговаривала не спорить: приедет Паня, его совета послушаем.

— И то дело,— откликалась мама таким тоном, будто про себя говорила: «Какой он в житейских делах советчик!»

Письмо от Пани. По обыкновению, отрывистые фразы, изречения мудрецов о быстротекущей жизни и где-то между Эпикуром и Анатолем Франсом о себе: скоро кончает, прощай альма-матер. Последние слова никак не

раскусили. Догадываемся: матер — это университет, матерь, знаньями его напитавшая.

Сидим с мамой на скамье у крыльца. Я на конце рыбу чищу,— тятенька с Витей наметкой наловили. Мама вертит в руках письмо, покачивает головой.

— Мудрецы, альмы... Чего плетет! Нет чтобы попросту. На свою дорогу скоро. В учителя пойдет. Знанье-то какое! Учитель — он везде учитель, и в классе и на улице. На него и глядят не как на других, по нему жить учатся. На Паню поглядят, скажут: гуляка, веселая голова, и приодеться-то у него смысла нет.

— Приодеться,— говорю,— недолго. Будет получать жалованье, еще сами скажем: как денди лондонский одет...

— Какой из него дендя. Тут хлопотать надо, искать, где ему! Живет, как щепка плывет, и за то бог спасет, что куда-то несет. Тебя обещал взять. Думаешь, помнит?

Слова мамы обдают меня крещенским холодом. Наверное, забыл. Экзамены, альма-матер,— до меня ли ему.

И все-таки теплится в душе надежда. Помнит. Доучится, и поедем вместе. Я в любой конец света готова, никакой камчатской дали не побоюсь. С месяц назад приписка у него была в письме, наизусть ее помню: «Танюша, что обещал — твердо. Учиться будешь, в пятый класс посажу, что не поймешь, растолкую».

Минутным настроением живет Паня. Может, нахлынуло раскаяние, что я из-за них не училась, и написал так.

Открытка с изображением богатыря на коне перед белым камнем и тремя дорогами. Распутье. Несколько размашистых строк: «Поздравьте, кончил. Еду с приятелем на Магнитку, там, говорят, за лето можно подзашибить. С Магнитки — куда приказано. Адьё, Павел».

Что будет на Магнитке делать? куда приказано? поди угадай.

Ждем, напишет еще, все скажет. Месяц проходит, два, три, Паня все не удосужится написать. Мама тревожится, хочет Сергея просить, чтобы розыскную бумагу составил, беда с Павлом не случилась ли.

До розыскной бумаги не дошло. Перед Октябрьской письмо от Пани из марийского села Килемары. Пишет, что марийцы народ славный, душевный, ребятишки понятливые. И вдруг неясное признание: «Все бы хорошо,

но ведь я в душе бродяга. Долго здесь меня даже моя Эда не удержит. Танюша, привет. Обещание помню, жди».

Ума не приложим, что за Эда, чего ему в Килемарах не живется.

В конце марта другое письмо — откуда-то с Камы, из Пятигоров. Объясняет, что охота к перемене мест довела его почти до Урала. И опять людей хвалит, места, школу. В конце смутный намек, что долго и здесь не удержится. Хоть его и обольщает своими чарами и наливкой рыжая северная Лаура. Мне опять приписка: «Не грусти, Танюша, мы с тобой еще постранствуем по свету. Махнем на Алтай».

И опять гадаем, чем же Пятигоры ему не по душе, что у него там за Лаура? В шутку упомянул Алтай или в самом деле туда надумал.

— Безъякорный,— ворчал тятенька.— Шалтай-болтай и вышел Алтай.

Недели, месяцы,— от Пани хоть бы строчка.

Двадцатая в моей жизни весна. Просохла Заячья горка; растаяли причудливые ледяные фигуры под горой над прудом; в овраге грохочет мутный поток, чуть не отвесно летящий с горы. Лед уже тронулся, идет сплошным, от берега до берега, полем, кой-где прочеркнутым темной полосой дороги. Я выбегаю на пригорок и с замирающим сердцем гляжу на эту ожившую громаду. Внизу, под ногами, синеют вывороченные, взваленные друг на дружку толстые льдины; край движущегося ледяного поля с шорохом и хрустом задевает за них, будто толкает плечом.

На душе у меня светло и грустно. Еще ледоход, еще годом я старше. На меня дома безнадежно махнули рукой: старая дева, сама того захотела. Не хотела я, не хочу, мне и слова эти тоскливо противны. Я жду его, не знаю, кто он, когда придет, но он обязательно придет, сядет рядом... Вообразишь, как он скажет: «Таня, любимая моя...», и всю тебя охватит пьянящее желание счастья.

И сны виделись томительные, полные ожидания: то будто сейчас я встречу его на берегу и спешу босиком

по камням, а там никого, только волны шипя рассыпаются пеной; то будто мне говорят, петь надо, и он придет, и я пою, пою... Мама окликает из чулана: «Таня, опять распелась».

По-настоящему я никого еще не любила. Влюблялась — несчетно раз, даже когда совсем малявкой была, лет шести или семи. Гостил у нас тятенькин знакомый, видный, цыганисто-смуглый. Он так нравился мне, что, кроме него, я словно никого и не видела. Слышу, тятенька о нем говорит маме: «Дельный, только красивых женщин любит до потери ума». После я потихоньку спрашиваю маму: «Я красивая?»— «Красивая»,— отвечает мама. «А я женщина?» Когда мама сказала, что маленькие не бывают женщинами, я убежала в самые глухие рябиновые заросли и горько расплакалась. Не будет он меня любить, я не женщина.

В университетских дружков Пани влюблялась во всех. Один ко мне особенно привязался, почтительно звал меня на «вы», стоило маме послать меня по воду, он хватал ведро и бежал к роднику. По вечерам долго бродил под нашими окнами. Из опасения, как бы я не вышла к нему на свидание, Паня выпросил у дяди Стигнея ключи от его амбара, перенес туда постель моего поклонника и стал на ночь запирать его там пудовым замком. Я жалела несчастного пленника, страдающего из-за меня, ночью бегала к амбару, и мы переговаривались через круглое отверстие внизу двери, сделанное для кошек.

Зимой редко кто заглядывал к нам. Смотришь с пригорка, обоз тянется по льду. Напротив нашего дома у проруби встанут поить лошадей. Мелькнет шалая мысль: «Хоть бы увез меня кто!» Однажды и в самом деле чуть не увезли. Иду с книжками из Кряжовска, догоняет обоз. Посторонилась, жду, когда проедет. Последние сани отстали. Мужик придерживает лошадь, кричит мне: «Ай замерз, молода девка, садись». Татарин. Говорю, не замерзну, идти два шага осталось. Тот настаивает: «Садись, красивый девка, чего бояться». Вези, думаю, коли охота. Лезу к нему в розвальни, он чапан подает, кутайся, девка, сам запахивает меня. Я барахтаюсь, хохочу, он тоже скалит белые зубы, тискает меня, укладывайся, девка. «Некогда, говорю, укладываться, я уж дома, вон дымок на пригорке, мама печку топит». Ски-

нула чапан, хочу выпрыгнуть, татарин облапил меня, хлестнул лошадь. Дымок уж позади стелется по пригорку. От испуга так завизжала я, так рванулась, что не помнила, как очутилась в снегу. Вылезла на дорогу, узелок с книжками к груди прижимаю, мол, ой. милые, в какую было мы с вами беду влипли. Кто его, лешего, знает, шутил ли он или разохотился, как его предки Батыевых времен, полонянкой обзавестись.

Ледяное поле все движется. Вон еще дорога с уцелевшими вешками, но уже сдвинутая во многих местах и похожая на лестницу. А в овраге все напористее грохочет поток, все глубже вгрызается в каменистую гору.

Ни весной, ни летом от Павла хоть бы строчка, не знаем, куда и написать ему. В начале сентября коротенькое письмо с признаниями, что он всех нас любит, и со стихами Есенина: «В этом мире я только прохожий, ты махни мне веселой рукой»... В конце: «Танюша, готовься в путь». Куда, когда, думай что хочешь.

Вскоре приехал сам. Пиджачишко старый, худой на локтях, штаны пыль метут бахромой... Ни чемодана, ни узла, только мандолина за плечом да на руке ветхий плащишко.

— Багаж-то...— спросил тятенька.— На пристани, что ли?

Паня с обычной беспечностью усмехнулся:

— Весь тут. Главное-то со мной. У сердца держал.— Он не спеша вытянул из грудного кармана бутылку водки и поставил на стол.— Веселая подружка.— Налил себе и тятеньке, дьяконским басом рявкнул:— Боже, даруй вина, трезвому жизнь скучна, пьяному рай. Поэт Языков сказал.

Выпили. Тятенька захмелел, крутил головой.

— Крепка. Отвык. Ученый, стало быть?

— Кой-что знаю.

— Учишь?

— Пить-есть надо.

— Без охоты, значит. А я так, бывало, с плотами... Вязать да гонять любил. Волга... разольется, матушка. Душа поет. А вот ты скажи, поет у тебя душа от твоей работы? Чую, не поет. Она у тебя...— тятенька нацелился пальцем на бутылку, хотел показать и промахнулся.— От этого поет.

Мама торопилась расспросить Паню, где он обосно-

вался, верно ли, что Танюшку надумал с собой взять, но тятенька отвел ее локтем.

— Постой. С ученым сыном желаю речь вести. Ты вот что, сученый, скажи... Этка — девка, что ли?

— Так это.— Паня смутился и досадливо махнул рукой.— Шутка Мефистофеля.

— Вон что, а Лаурка? Тоже шутка... этого самого? Может, на сносях обе?

— Уж ты набредишь, отец,— возмутилась мама и подсела к Пане с другой стороны.— Танюшку-то... верно, что ли?

— Возьму. Не все ей на Гряде торчать.

— Далеко ли хоть?

— Под Москву. Село Аграевка. Там и заживем.

Нигде не бывала мама, кроме Кузьмы да Кряжовска, и Москва казалась ей краем света. Ошеломленно всплеснула руками, судорожно обняла меня.

— И не думайте. Не пущу.— Сквозь слезы спросила, сколько ден ехать-то туда. Услышав, что в один день свободно доедешь, поуспокоилась.— Ну ин воля ваша.

Через неделю мама с тятенькой проводили нас на лодке в Кряжовск. Тятенька и Паня заторопились на пристань за билетом, мы с мамой завернули к Сергею, хоть и не надеялись его застать.

Трудная была у него полоса. Добрая половина Кряжовска — пашет, сеет, делит каждую весну луга за Волгой, спорит из-за каждого лаптя. Началось мудреное дело собирания крестьянского труда воедино, везде только и речи, что о колхозах,— и на базаре, и в очереди за билетами в кино, и в толчее на разгрузке барж у наших складов. Где мирно рассуждали, где и перебранки не хватало, рвали друг дружку за грудки. Одни доказывали, что хватит по старинке на карюхах плестись, машинами надо обзаводиться, другие горлодерили — машины-де землю в пыль измолотят, хлеб керосином разить будет, третьи зловеще сулили всякие напасти отступникам от исконного мужицкого житья.

По разным концам Кряжовска три колхоза сложились, Сергей и метался меж ними, где митингует, где властью, данной ему, распорядится.

Дома его не было. Маруся еще на крыльце пропела медовым голоском, что Сергея Астафьевича в область вызвали.

— Проходите, гостюшки дорогие,— заливалась она, уступая нам дорогу.— Давно не бывали, пива нашего не пивали.— Впустила, заперла дверь железным крюком, вбитым в стену, изучающе оглядела нас, по виду стараясь угадать, как пришли: с ночевой или так, лясы-балясы поточить и уйти.

Заметно оттаяла, когда я сказала, что уезжаю с Паней и думала Сергея повидать напоследок.

— В область вызвали,— повторила она.— Сергей Астафьевич по начальственной линии уехавшие. Всё дела, всё заседания. Из президиумов не вылезает.

— На то и ставили,— уважительно поддакнула мама.— Шутка сказать, всей крестьянской жизни переворот. Новое наладить, от старого отвадить. А старое-то столетними корнями держится. Переворот — и дел невпроворот.

Идем в горницу по чистой тканьевой дорожке, осторожно садимся на краешек дивана, затянутого белым чехлом. И этот диван, и зеркало от полу до потолка, горка, в которой за гранеными стеклами высверкивают на солнце хрустальные вазы и рюмки,— все накуплено Марусей. Услышит, где распродают добро раскулаченных, она первая там. Часы где-то ухватила — футляр вроде шкафа, только узкий, маятник со сковородку. Между часами и горкой — картина в золоченой раме, изображающая изможденных, полуголых людей на берегу моря и обломки корабля. Маруся ухватистая, мимо рук ничего не пропустит. При мне Сергей корить ее принимался, что от диванов да горок пройти стало негде. Отшучивается: «Бочком пройдешь. Хватит. пожили в бедности, пришел и наш черед серебряной ложкой щи хлебать». А то еще скажет, что у нее свои денежки: корову держит, пара боровков хрюкает в закутке — статьи подоходнее Сергеева жалованья.

Богато у Маруси, а скучно. Коли Сергея нет, повернуться бы, да и на волю. Мама стесняется, как бы Маруся не сочла это за обиду. Сидим, нагужно придумываем, о чем еще говорить. Легонько трогаю маму локтем, она понимающе взглядывает на меня и вздыхает.

— Еще бы посидели, да уж скоро пароходу быть. Пойдем, дочка.

Маруся разахалась: и чайком-то не успела дорогих сродничков напоить, и куда едет Таня повыспросить.

— Под Москву куда-то,— ответила я и потянула маму к двери.— Паня в техникуме будет учить, может, и я поступлю.

— Поступишь,— нараспев обнадежила меня Маруся.— А и не поступишь, эко дело! Я не ученая, да, слава богу, не хуже учительши живу.— Она громыхнула железным крюком у двери и выпустила нас.— Заходите вдругорядь безо всякого стеснения.

— Мы уж и так...— отозвалась мама.— Не обессудьте, коли нужда настигнет.

Отошли немного, слышу, мама ворчит на Марусю, скопидомной жилой обзывает ее.

— Хоть бы какое платьишко тебе дала, на, мол, Таня, широковато ежели, подошьешь.

— Очень мне ее обноски нужны,— говорю я и чувствую себя гордой и благородной бесприданницей.

Выходим на главную улицу. Базарный день. Народу в оба конца снует много. Гляжу, по ту сторону степенно шагает Алешка-кузнец, за его локоть цепится круглолицая беременная коротышка. Супруги. С каким самодовольством несет она свой кузов! Захотела бы я, и вместо этой пуговицы висла бы на Алешке.

Вздохнула, отвернулась и мысленно пожелала им счастья.

Паня уже с билетами. Где-то они с тятенькой успели клюкнуть, оба пошатываются. В излучине реки возникает белая точка парохода, слышны гудки. На пристани суета. Мама словно пробуждается и только сейчас во всей ясности сознает, что мы расстаемся. Как утопающая хватается она за меня, шепчет, чтобы не уезжала я, и плачет, плачет. Я жмусь к ней,— никого-то у меня на всем свете нет дороже ее,— горько раскаиваюсь, что оставляю ее. За всю мою жизнь я даже на день, на два не разлучалась с нею, и вдруг... Смутно помню, как Паня оттаскивает меня за руку и ведет по сходням, как тятенька удерживает маму, а она тянется за мной обеими руками, кричит что-то, и по лицу ее дождем льют слезы.

Очутились мы в душном полутемном трюме. По каким-то мешкам лезу к мутному круглому окошку, вдруг еще погляжу на маму. Глаза упираются в черный смоляной борт пристани. Зашумели где-то рядом колеса, и пристань поплыла влево.

Ищу в полумраке Паню. Он сидит на полу, привалился к нашим узлам и дремлет. Я тормошу его и со слезами твержу, что не хочу ехать, пусть на первой же пристани высадит меня. Он промигивается, обнимает меня и уговаривает потерпеть, подумать о чем-нибудь другом.

— Скоро в Нижний приедем. Теперь его Горьким зовут.

Я всхлипываю, вздох у меня — словно по ступенькам взбираюсь: одна, другая, третья. Вспоминаю, что в Нижнем родился писатель Горький, и, хоть совсем не до того мне, спрашиваю:

— Ма-Максимом?

— Ага. Город замечательный. Откос там — век не забудешь.

Опять накатывает долгий прерывистый вздох. Стараюсь проглотить его, киваю Пане, пусть говорит. А перед глазами пристань, мама... Старенькая, тщедушная. Из-под платка выбились седые пряди. Тятенька удерживает ее, а она тянет ко мне худенькие руки и, наверно, криком кричит: «Таня, не уезжай».

Первые месяцы в Аграевке прошли в каком-то тоскливом тумане. Паня усадил меня за учебники и велел учить дроби, химические формулы, немецкий... Уставлюсь в книжку и отчаянно, с ожесточением зубрю. Отвертываюсь к окну, чтобы повторить. За окном все окутано снегом: широкая сельская улица, кровли домов, скворечни на шестах. Вместо повторения вызубренного начинаю думать, как там у нас на Гряде. Наверное, ой тоже намело снегу, рябины в густом инее. Утром тятенька выходит на крыльцо с деревянной лопатой, слепо шарит ногой ступеньки, спускается и начинает раскидывать направо и налево легкий, свежий, пушистый снег. Сначала к бане и ключу наладит тропку, потом к избенке дяди Стигнея. Окликнет его, эй, мол, стуколка, жив ли?

Еще когда ехали сюда, Паня объяснил мне, что зимой к нашим из Аграевки не добраться: от железной дороги до Рябиновой Гряды километров сто, на чем их одолеешь? Я и сама то и дело над картой из учебника географии печалюсь; вожу карандашом и так и этак, все выходит, что кроме Волги надеяться не на что. Утешаю

себя — и в письмах маме пишу: весной до Горького поездом, а там на пароходе. Сложу карту и опять бубню: «квадратным корнем называется...»; «тетраметилметан есть химическое соединение...»; «имперфект и партицип цвай от глагола ситцен будет...» Паня проверяет студенческие контрольные. Рассеянно поправляет меня:

— Зитцен, Танюша.

Покорно выговариваю, как он велит. Мне все равно. Ситцен бы лучше, на свое, русское, похоже.

Паня преподает в красильно-меховом техникуме. По его просьбе мне дозволили посещать занятия первого курса. Я хожу, слушаю, стараюсь понять хоть половину, хоть что-нибудь. От скуки разглядываю преподавателей, подмечаю, как биолог — студенты между собой зовут его Ванечкой — приложит ладонь ко лбу, запрокинет голову и рассказывает о протоплазме, будто читает стихи. Кудрявый химик Чиликиш, прозванный так за маленький рост и звонкий пичужечий голос, весь урок суетится около доски, стучит по ней мелом и вытягивается на носках; формулы выводит такие, что с доски перебирается на стену, ставит плюс за плюсом и останавливается в углу, потому что там штукатурка всегда сырая и писать нельзя. Физик — это мой братец. Самые мудреные явления и законы он объясняет просто, так что даже я кой-что понимаю; ребята зовут его своим в доску, девчонки в него влюблены. Вроде бы за что? Одевается кое-как, небритый по неделе. Любят, и все. Наверно, угадывают, какой он мягкий, уступчивый.

Преподаватели сначала и меня спрашивали, вызывали к доске, но скоро убедились, что лучше меня не беспокоить. Математичка, сухопарая и длинная, студенты окрестили ее Соломоновым удилищем,— по поводу моих познаний желчно процедила:

— Садитесь, Залесова. Полнейшая табульраза.

После мне говорили, что на свое место я шла как заря красная. Еще бы! И от стыда я горела, и от возмущения. Поучилась бы ты с мое, хотелось сказать мне этой ядовитой старой деве, не такой бы еще табульразой была, табульразее меня впятеро.

Вечером Паня часа два втолковывал мне, что такое иррациональные числа. Отчаявшись понять что-нибудь, я бросила тетрадку и расплакалась.

— Хватит меня табульразить!

— Чего хватит?

— Табульразить,— говорю.— Дурочкой представлять.

Паня посмеялся и объяснил мне, что значит табульраза. Хоть и не так обидно оказалось, все равно хорошего мало.

Умоляю его бросить затею с моим ученьем. Не смогу.

— Сможешь,— уверяет Паня.— Не беда, если и два года на первом курсе посидишь. Куда тебе торопиться.

— Как это — куда? Второгодница, третьегодница, потом скажут и вовсе негодница. Посмешищем стать? Не хочу.

— Зачем посмешищем! Некоторые учителя знаешь как довольны тобой.

— Нет таких.

— Есть.— Паня поводит прищуренным глазом на стену, за которой живет учитель литературы Дмитрий Макарович Камышин — В восторге.

— Этот!— Я разочарованно вытягиваю губы и пожимаю плечами.— Что читала немножко больше других. Главные-то в науках вы, точные.

На уроках литературы я и в самом деле оживала и не чувствовала себя лишней. Начнем прорабатывать Печорина, дойдет до меня черед, уж я тут отыграюсь. Никто на курсе Белинского и не читывал, а я так и режу, что он сказал о герое лермонтовского романа. Девчонки завистливо язвят меня глазами, Дмитрий Макарович старается сохранить ученое спокойствие и только благосклонно кивает.

— Отличные познания, Залесова. Зело.

Студенты в нашем техникуме отовсюду: есть и сибиряки, и москвичи, и кавказцы, много людей пожилых, лет на десять старше Дмитрия Макаровича. Заметно, что ему бывает неловко говорить об ошибках в сочинении или речи какого-нибудь тридцатипятилетнего дяди с бурыми от несмываемой краски руками. Всего год назад он окончил Московский университет. Чтобы не так била в глаза его почти мальчишеская молодость, он вставляет старинные слова, вроде зело, токмо, глаголить. От этого желания казаться старше держится он напряженно, глаголит важно. В одежде щепетильно аккуратен, старые, в трещинах, ботинки всегда начищены. Паня иногда входит в класс и не замечает, что из-под пиджака у него болтается конец ремня. Дмитрий Макарович

такой небрежности не допустит. Выходя из дому, он, наверно, не один раз оглядит себя, все ли у него, как теперь говорят, в ажуре.

Мы с ним соседи. В этом же доме живет еще несколько преподавателей, внизу студенческое — девичье — общежитие. Когда-то в этих двухэтажных хоромах ширился хозяин ткацкой фабрики, брошенной им после революции и пустовавшей. В одном из ее корпусов, наспех разгороженных фанерой, мы и учились.

Залы в хоромах тоже разгорожены, так что одна половина лепного круга на потолке в нашей комнате, другая у Дмитрия Макаровича. Стена оштукатурена, но сквозь нее слышно каждое движение соседа. Отодвинул стул и ходит с угрюмым бормотаньем: сочиняет стихи, ищет рифму или слово, чтобы втолкнуть его в нужный размер.

Комната у него угловая с четырьмя огромными окнами, и продувают ее все восточные и северные ветры. Печка у нас на обе комнаты одна, топка выходит к нам. Покажется мне, что тепло, не истоплю, в комнате Дмитрия Макаровича наступает, как он шутливо сказал мне однажды, великое оледенение. Тогда он уж не ходит, а бегает и хлопает себя по бокам, как мужики на морозе. Зимой дверь у него постоянно, даже ночью, открыта: в коридоре все-таки теплей. Другие жильцы, особенно технорук — его комната как раз напротив,— ворчат, вскакивают среди ночи, прохваченные холодом, который напустит Дмитрий Макарович, и захлопывают его дверь. Померзнет он час, другой и опять крадучись приотворит. Зима в этом году злая, с дровами жмемся. Истоплю, оттает наш сосед, слышим — смычок канифолит, скрипку настраивает и начинает выпиливать гаммы. Музыке предается он самоучкой, струны под смычком взвизгивают, скрежещут. Паня зажимает ладонями уши, крутит головой и наконец не выдерживает.

— Бездарный уходер,— шипит он и грозит стене кулаком.— Что, если поленом грохнуть?

Я шепотом умоляю не ссориться: учитель все-таки.

— Тогда...— Паня придумывает самую страшную месть.— Не будем топить. Два дня. Три. Чтобы у него пальцы не гнулись.

Морозить беззащитного соседа я тоже не согласна.

— Лучше позовем его чай пить.

Жили мы все — преподаватели и студенты — одинаково скудно, ходили в одну и ту же столовку. Оторвут от продуктовой карточки талон, дадут черпак щей из квашеной капусты, на второе шлепнут на тарелку мятой картошки — ее называли пюре. Чуть-чуть заморишь голод; ребятам так и вовсе этого не хватало.

Праздником было, когда наш сосед привезет из Москвы буханку хлеба, купленную на рынке, и мы втроем усядемся у нас пить чай. Я высыплю на газету пакетик сахару, наш месячный паек, разрежу хлеб на равные аккуратные ломтики — и начинаем пир, шумный, с громкой веселой болтовней. Ржаной, круто замешенный хлеб кажется нам вкуснее всего на свете. О белом мы и не вспоминаем. Вместо чая завариваю сушеную малину,— ее прислала нашему соседу мать из деревни.

Мы стараемся есть не спеша, хлеб все равно исчезает удручающе быстро. Наконец мы чувствуем себя сытыми. Какое это счастье — не чувствовать под ложечкой голодной тоски, нудного непрерывного нытья. Круглое, деревенски простодушное лицо Дмитрия Макаровича блаженно сияет и похоже на солнышко, каким мы рисовали его маленькими. Я забываю, что он мой учитель, он просто наш сосед, и я рада, что ему с нами хорошо.

Как-то во время такого пира Дмитрий Макарович пристыдил нас, что мы с полгода, можно сказать, на московской околице, два часа езды, и до сих пор в Москве не бывали.

— Боитесь заблудиться? А я на что? Завяжи мне глаза — и от Кутафьевой башни до любой заставы доведу. На ночь приткнуться? Будьте покойны, место есть. Свой у меня там деревенский живет, рабочим классом стал. Аксен Петрович. Хозяйка его, тетя Тоня, еще как-то родней нам приходится. Приветливые. И живут неподалеку от вокзала. Видите, все сходится. Конечно, ежели вам провожатый не подходит...— Дмитрий Макарович дернул плечом, тогда, мол, извините.

Я захлопала в ладоши и крикнула, что подходит, очень даже подходит. Паня стал было мямлить — и до станции далеко, и дорога, наверно, мятижная, но я решительно сказала, что непременно поедем. До станции три километра — какая же даль? Мы в Кряжовск отмахиваем семь — и ничего. Откуда и дороге мятижной быть?— аграевских в Москву ездит много.

Два часа в поезде — это же вовсе рядом!

Неделю спустя мы втроем втиснулись в квартирку земляка Дмитрия Макаровича. Хозяева были дома, только что уселись обедать. Встретили нас шумными восклицаниями, будто и в самом деле к ним родня привалила. Аксен Петрович, как человек городской, полированный, стал было помогать мне раздеться. Я от смущения сжалась, что, мол, вы, свои руки целы. Дети — двое ребятишек с чернильными пятнами на пальцах и девочка лет четырех — кинулись к Дмитрию Макаровичу, называя его дядей Митей и наперебой выспрашивая, что долго не ехал. Хозяйка тетя Тоня приставила табуретки к столу и усадила нас.

— Погрейтесь с дороги, гостюшки дорогие. Картошечки с пылу горячей, чайку.

И сам потчует, Аксен Петрович, ближе к нам ставец с тонкими пряничками черного хлеба подвигает.

— Не обессудьте, что скудно. Картошкой да чаем гостей встречаем. Водочкой бы положено, да, признаться, не держу этого зверя: вцепится, не отвяжется, а дело у меня строгое, Митя,— он кивнул на Дмитрия Макаровича,— знает.

— Еще бы не строгое,— отозвался тот и с гордостью пояснил нам:— Автобус водит. А что картошка да чай,— разлюбезное дело. Погреемся — и колесить, волгари мои ни разу Москвы не видели.

Спешим на улицу. Оглядываюсь — и сердце замирает: Москва! Наверно, изо всего нашего залесовского роду мы в ней — Паня и я — первые. Некоторые улицы — так себе, середина расчищена, по сторонам снежные валы. Гонят извозчики, покрикивают, чтобы ротозеи поберегались. Изредка обгоняют их автомобили, похожие на старинные кареты, какие изображаются на иллюстрациях к роману Диккенса, только без лошадей. Дымят, фыркают и трубят так, что даже на тротуаре люди шарахаются. На многих улицах рельсы и бегают вагоны,— такие мы по пути в Аграевку видели в Горьком. Трамваи. Дмитрий Макарович говорит, что ехать нам далеко. Задерживаемся на остановке, притопываем, чтобы ноги не окоченели. Подходит трамвай, дружно напираем и лезем на площадку. Народу как в нерядовской лавке, когда там что-нибудь дают без карточек, воблу или повидлу. Скамейки вдоль окон заняты,— Паня шутит: весь штат

заполнен. По обеим сторонам на жердочках болтаются ременные петли, за них цепятся, чтобы не упасть при толчках трамвая или крутых поворотах. Дотягиваюсь и я до одной, вишу, все-таки ногам легче. Окна затянуты снизу инеем, как белым каракулем, сверху чистые. Гляжу, то широким бульваром едем, то узенькими переулками петляем, у меня уж, как на карусели в Кряжовске, голова кругом.

Вполголоса, только чтобы мы слышали, Дмитрий Макарович рассказывает, по каким улицам едем, иногда покажет на какой-нибудь дом и даже вздохнет.

— История! При Петре тут школа навигацких и математических наук была.

Или:

— Святыня! Пушкин тут друзьям «Бориса Годунова читал.

Едем, едем... Да есть ли конец Москве? До одного добрались: у Новодевичьего монастыря вышли. Дмитрий Макарович и тут все знает: новые дома слева — это Университетка, прямо, за невидимой под снегом Москва-рекой Воробьевы Горы, там Герцен и Огарев давали клятву бороться с крепостным правом.

В низине у реки домишки, сараи, не лучше, чем в Аграевке. Окраина. А на горах и вовсе пусто.

Опять гремит и названивает трамвай, будто покрикивает: «Сторонись, народ, я лечу, никуда не сворочу!» И опять Москве нет конца. Даже названия всех примечательностей не запомнить, какие называет Дмитрий Макарович. Триумфальные ворота, Сухарева башня, памятник Пушкину... В некоторых местах заборы, за ними какие-то ямы роют несусветной глубины. Размышляю вслух, наверно, мол, пруды будут.

— Я в курсе этих ям,— снисходительно замечает Дмитрий Макарович.— Новые здания строятся. Прямо — административное, в десять этажей, левее — гостиница — в двенадцать. Америку догоняем.

— А те вышки? Вы тоже в курсе?

— Пожалуйста. Туннели роют. Подземная дорога будет, как в Лондоне или Париже. Метрополитен.

Единственно, чего он не знал, где поесть. Сунемся в магазин — ЗРК, закрытый рабочий кооператив, хлеб по карточкам. Столовые — для прикрепленных. Москва тоже на пайке. Есть магазины, полные самой соблазни-

тельной еды,— и белый хлеб, и наискось нарезанная колбаса, и сыр со слезой...— но все на золото. Торгсин. Торговля с иностранцами. Будь у нас золото, и мы бы за иностранцев сошли. Переглянемся, эх, мол, беднота, хоть бы один золотой зуб на троих, и того нет. Дмитрий Макарович советует подтянуться и потерпеть.

— На гвоздилку двинем. На Даниловский рынок.

Двинули.

Народу на гвоздилке как семечек в подсолнечнике, только все движутся, одни продают — шапки, пиджаки, рубахи, кофты, валенки... другие приценяются, щупают, торгуются. Мы продираемся дальше, где торгуют съестным. Дмитрий Макарович первым врезается в людской водоворот, мы за ним. Оглянется, тут ли мы, и опять работает плечом и локтями. Меня больше всего тревожит, выдержит ли мое старенькое плисовое пальто, перешитое из маминого сака, не расползется ли оно в этой безжалостной толчее.

Выдержало.

Купили пирожков с капустой, можно бы и назад, где-нибудь в сторонке поесть, но выбраться не так просто: со всех сторон сбились люди, трясут разным тряпьем, карманными часами на цепочках, связками старых журналов, выкрикивают: «А вот комплект «Аполлона», отдам по дешевке». «Часы «Павел Буре», кому «Буре»!» «Бери жилетку, задарма отдаю. Хватит жилетки на три пятилетки, износу не будет»...

Выбрались, встали у забора с витриной. За проволочной сеткой объявления. Делаю вид, что с интересом читаю их, сама уминаю пирожки. Объявлений множество, и все об одном: в Москву, в Москву. Многие начинаются напористо, воинственно: «Одесса на Москву!», «Житомир на Москву!», «Бузулук на Москву!», даже «Казань на Москву!». В обмен за угол в Москве предлагают собственные дома, особняки, дачи с верандами, садами и надворными постройками. Какой-то Егор Полушкин рвется в Москву из Кологрива, Наум Поляков из Бердичева, Лев Соколов из Балахны... И чего, думаю, не живется вам, где отцы ваши и деды жили? Стало быть, выгода, ежели целые дома на московские углы меняют.

Подкрепились, опять трясемся в трамвае. Другой конец Москвы оказался в Останкине.

По залам шереметьевского дворца, ради которого нас

и привез сюда Дмитрий Макарович, шла я как во сне. Даже во дворцах арабских владык, описанных в «Тысяче и одной ночи», я не могла вообразить такой игры фантазии зодчих, ваятелей и живописцев. Не верилось, что в нем жили обыкновенные люди, хоть и в кринолины разодетые. По скольку же метров приходилось на человека?

Наутро Дмитрий Макарович спозаранку умыкался куда-то. За чаем погадали и решили, что надумал проведать кого-нибудь из университетских друзей.

Ребята убежали кататься на салазках, — где-то неподалеку облюбован у них пустырь с пригорком. Девочка увела меня в свой угол с игрушками, показывает тряпичные узелки, — на них чернилами выведены глаза и рот, это куклы. Есть и посуда: черепки от блюдцев, чашка без ручки, банка из-под ваксы, с десяток старых пуговиц. Хвалю ее богатство, сама прислушиваюсь, о чем это Паня и Аксен Петрович расспорились. Негромко, но серьезно, истово. Пятилетка, великие стройки... Любят у нас мужики о политике посудачить.

Паня говорит вроде бы правильно: самое главное, чтобы лучше жилось. Аксен Петрович соглашается.

— Понятное дело, на то всех — и трехсотлетних и временных — и турнули. Что же, думаете, революция кончилась? Нет, Павел Астафьевич, на полном газу идет. Без штыков, трудовая. На великие дела народ рукава засучил. Выполним пятилетний план, другой примем. Изголодались люди по работе. Мировая война, гражданская... Сколько лет окопы да атаки, ружья не выпускали из рук.

— Хлеба досыта не едали, — в тон ему договаривает Паня. — Выпала мирная полоса, народ опять впроголодь. Великие стройки... У самих ремни затянуты до хребта.

По его словам, и частника урезали рано, и с великими стройками надо было обождать, и повременить бы деревенский уклад рушить.

— На технику молимся, чуда от нее ждем. Не будет чуда. Людям руки развязать надо.

— Так, так, — язвительно тянет Аксен Петрович, — вот и прояснилось мне ваше просвещенное умозрение. Руки, стало быть, развязать. Кому это? Частнику, деревенскому богатею? Обогащайтесь, господа непманы,

а ты, рабочий человек, трудись на них, как, бывало, на Рябушинских; мужик на своей полоске сохой елозь. Веселая картина получается. Не в обиду будь сказано, вы по жизни где-то обочиной идете, со стороны поглядываете. Так, ваше просвещенство, недолго и в болото забрести. Бедность, говорите. Верно, бедно живем, с едой туго, с одежкой плохо. А я вот так мыслю: будет государство богато и каждый будет богат. Государство же не чье-нибудь, наше. А вы толкуете — стройки рано, колхозы рано, сперва карамелек нам давай.

Вижу, доводы Аксена Петровича не убеждают Паню, он опять доказывает, что сперва людей надо на ногах укрепить, потом и великие задачи ставить.

— Не о карамельках речь. С хлеба начать, с одежи. Не важно, кто нам штаны сошьет, частник или потомственный пролетарий, было бы что застегнуть. Беспортошными да босыми Америку не догоним.

— Точно. Минимум, климат не дозволит. А как же одеть-обуть прикажете без техники? Земли безмежные поднять? То-то. Что партия на технику жмет, дело верное. Проблему я так квалифицирую: машин нехватка. Всяких. Мое дело взять. Автобус вожу. Чей? Английский. «Лейланд». Сами видели, много ли их. Такси — и того меньше. Опять же чьи? «Рено», французские. За каждую, поди, по маленке золота сыплем. А поезда? Горе! Паровозы старые, идут — отдуваются. Погляди, на вокзалах что! Люди во все концы едут, на Магнитку, в Заполярье, к Тихому океану... Везде заводы строят, города, всего надо — кирпича, железа, стекла, цемента, ситца... А без машин, минумум, лапоть сплетешь. Не молимся на технику, силу ее видим, время бы эту силу и вашему просвещенству разглядеть. Серчаете небось, что я гостю и так прямо режу. Люди свои, советские, лучше начистоту.

Не понравилось мне, что Паня слушал Аксен Петровича как-то небрежно, с улыбочкой, мол, ну, ну, отведи душу. По-моему, тот все верно говорил. Вперед надо глядеть, а что того нет, этого нет... Пережить надо.

Пришел Дмитрий Макарович, лицо раскраснелось от мороза, сияет каким-то озорным торжеством. Распахнул пиджак, жду, сейчас вытащит бутылку с казенной сургучной головкой. Верно, лезет в карман и — с победным выражением вытягивает три бумажных полоски.

— Достал! В Большой. На «Лебединое озеро».

Я про себя похвалила его за догадливость и старание и не подумала, что в театр ходят нарядными. Подумала за меня тетя Тоня, забеспокоилась.

— Ой, Танюша, не больно ты важнецки одета. Пойдем-ка в спаленку, я на тебя что-нибудь свое померяю.

Отнекиваюсь — и слушать не хочет. Увела меня в соседнюю комнатенку, сожалеюще оглядела.

— Тощенькая ты какая! Жилы да косточки. Не знаю, что тебе мое и подойдет, я ведь супротив тебя телесная.

И верно, платья, кофточки, юбки — все было мне велико и мерить не стоило. Так вечером и плелась я по красной дорожке между рядов партера в подшитых валенках с кожаными задниками и мешковатом бумазейном платьишке. Кругом все было празднично ярким, сверкала позолота ярусов, на женщинах блестели бусы, броши, браслеты. Кажется, весь партер, все ложи и ярусы уставились на нас: эти, мол, азямные, как сюда затесались? Столкнись мы вот тут, в проходе, с Лариской Бонжуровой, она бы, наверно, сделала вид, что ни меня, ни Пани знать не знает.

Отыскали свои места, уселись. Дмитрий Макарович шепчет мне, чтобя я не смущалась, и впервые называет Танюшей. До этого все по фамилии или просто вы, а кто вы, неизвестно. Погасли огни, сижу в полумраке и улыбаюсь: так мне приятно отчего-то, что он Танюшей меня назвал.

На сцене началось волшебство, так ошеломившее меня, что потом всю ночь надо мной кружились белокрылые люди-птицы.

17

И радостью для меня и печалью были письма с Рябиновой Гряды. Писала их чаще всего Проня под диктовку мамы. В первое время странно было читать ученически аккуратные Пронины строчки, выведенные по косым линейкам на листке из тетради: «Милая доченька моя Таня...» Потом привыкла. Во всех письмах мама высчитывала, сколько дней осталось ей ждать меня и Паню. Старенькая моя! Вспомню, как на пристани тянула она ко мне худые ручеиьки, и на сердце такой камень навалится, что дышать сделается тяжело. Хочется бежать на

станцию, сесть на поезд и ехать, а те злосчастные сто верст оттопать пешком. Все равно ничего путного из моего ученья не выйдет. Паня уверяет, что выйдет, что все учителя говорят о моих успехах. Послушаю его, смирюсь.

Получим письмо из дому, опять разгорююсь, умолять начну, чтобы хоть на станцию проводил меня.

В начале марта совсем решила: уеду, сама дорогу найду. Укладываться начала. Паня всполошился, просит набраться терпения, до каникул совсем пустяки осталось.

Уступила. Да и жаль его оставлять, беспомощен он в житейских делах, как ребенок.

Довольный, что остаюсь, положил передо мной на стол получку.

— Гулять будем. Сосед подбивает — на этой неделе опять в Москву. Мы, говорит, еще столько не видели. Тане Красную площадь надо показать, Третьяковку... Чуешь, какое тебе почтение?

— Чую, — говорю, — если не выдумал. Так иди скажи, что нас и подбивать нечего.

Возвращались мы из этой поездки настроенными возвышенно, без обычной веселой болтовни. Хотелось молча обдумать впечатления. Мавзолей, имена героев революции на плитах у Кремлевской стены...

Почти целый день в Третьяковской галерее.

Перед глазами у меня проплывают шишкинские сосновые леса, васнецовские богатыри на конях и Аленушка над омутом, суриковская боярыня Морозова, казнь стрельцов, репинский сыноубийца — Иван Грозный... У меня такое чувство, словно я приотворила дверь еще в одну жизнь, отраженную на этих тысячах картин и такую же огромную, живую, как и в книгах наших писателей.

Домой пришли поздно вечером. В полутемном коридоре кто-то у нашей двери спал под стеганым одеялом. Паня наклонился, разглядел, кто это, и отшатнулся. Удрученно бормотнул:

— Тоже... не ждали. Нашла.

Одеяло зашевелилось, поднялась и села женщина и тут же подхватила на руки ребенка.

— Это мы, Павел, дочка твоя, мы, — торопливо заговорила она тонким галочьим голосом. — Долго ехал к тебе, долго ждал..,

По марийскому выговору догадываюсь, что это и есть его Эда. Хочу взять у нее маленького.

— Давай, — говорю, — Эда, подержу.

— Сама вставать могу. Какой Эда? Варей меня, Варваром зовут.

Паня обрывает нас:

— После языки намозолите. — Отпихивает ногой тряпье на полу и отпирает дверь. — Входи, чего тут... — В сторону Дмитрия Макаровича он старается не глядеть, а тот не торопясь возится с замком в своей двери и, наверно, с лукавым недоумением наблюдает, как мы с Варей скручиваем два одеяла, подушку и пеленки в огромный узел. Скрутили, тащимся следом за Паней. Он включает свет, срывает с себя пальто и садится спиной к нам за письменный стол. По его вздернутым плечам и опущенной голове я вижу, как он оглушен и подавлен приездом своей Эды. Наверно, думал, что станет теперь посмешищем для всех, начиная с соседа, заговорят о моральном облике преподавателя Залесова. А я думала, как она, бедная, с ребенком и этим неохватным узлом ехала такую даль, где-то добиралась до железной дороги, лезла в вагон, здесь брела от станции. Спрашиваю, измучилась, мол?

— Ничо-о, — тоненько тянет она и показывает на дверь. — Сума осталась, давай.

За дверью, и верно, большая тяжелая котомка. Волоком тащу в комнату.

— Еще и это несла! Набила-то чем ее?

— Мука набил, крупа, масло, еда трудно, вот и набил, — щебечущей скороговоркой объясняет Варя. Она кладет ребенка на Панину койку, стягивает с себя дубленую шубейку с борами и шаль и делается похожей на смуглого узкоглазого подростка. Ребенок возится, выпрастывает ручонки, Варя наклоняется над ним, разворачивает постилки. — от них несет заматерелым, невыносимо терпким духом. — Мыть надо, сухая тряпка надо, — вздыхает она и жалобно глядит на меня. — Таня зовут? Павел говорил. Таня золотой, говорил. Вода теплый, Таня, надо. Давай печка топить.

Хорошо, что дрова были наготове. Затопили. Теплая вода нашлась на кухне. У семейных жильцов — в другой половине дома, через сени, — выпросила таз.

Суетимся с Варей у печки, перед огнем раздеваем

девочку, она терпеливо сносит прикосновения наших рук и, кажется, с любопытством глядит на меня черными, узкими, как у матери, глазенками. В пазушках и промежках у нее красно, и когда намыливаем ее, она поднимает рев на весь дом.

Вымыли, обернули моей рубашкой. Варя дала ей грудь, успокоила. С минуту поворковала с девочкой, должно быть, хотела убедиться, что та не грянет опять, и поднесла ее Пане.

— Дочка твой, Павел. Звала, как ты велел, Иенза. Наши не хотел, а я сказал, так Павел хотел. Гляди, хороший дочка. Что молчишь? Мы приехал, не рад?

— Приехала, живи, — хмуро ответил Павел. На девочку и не взглянул.

Я уложила Варю с Иензой на своей постели, сама улеглась на полу. Не привыкать.

Прошла неделя, другая. Варя ждала, что Павел оттает, подобреет к ней и ребенку, но он словно не замечал их. Уходил с утра на весь день, во время окон в расписании отсиживался в библиотеке за книжными стеллажами. Если уроков не было, забивался к толстой разбитной вдове Федосье Гагиной. Для учителя Павла Астафьевича у тетки Федосьи всегда находилась бутылка водки, на закуску маринованные опята. Паня пил, вздыхал о своей незадачливой жизни и пел о бродяге с Сахалина. Дочь тетки Федосьи Капка училась тоже в техникуме на нашем курсе, мы сидели с ней за одной партой. Тучная, в мать, она тяжело сопела, когда решала задачи, словно везла воз, и от нее всегда пахло потом. Мать и дочь ревновали Паню друг к другу, обе льнули к нему с утешениями, он спьяна не разбирал, которая укладывает его спать. Капка со слезами жаловалась мне:

— Что уж это Павел Астафьевич... Говорит, что меня любит, а сам...

Домой возвращался он поздно, среди ночи. Вяло разденется, кинет пиджак в угол, потужится стащить сапоги, чертыхнется и повалится так.

Денег он стал давать мне вполовину меньше прежнего. От серьезного разговора со мной увиливал. Как-то по дороге в техникум навалилась я на него с попреками, что бессовестно так жить.

— Как?

— Жена тебе Варя или нет?

— Еще что!

— Любил, видно, Эдой звал.

— Не помню.

— Варя говорит, взять обещал.

— Может быть.

— Иенза-то твоя?

— Пожалуй. Закон природы.

— А ведешь себя — одно беззаконие. Варе хоть бы слово молвил. Дальше-то как же?

Молчит.

С Варей завожу речь, как, мол, сошлись-то?

— Так... Портка стирал Павлу, рубаха. Приходил раз, приходил два. Водка угощал.

— Он тебя?

— Я. Жалел Павла. Одна ты, говорю. Он меня жалел. Ребенка, говорю, будет. Ладно, говорит. Девочка — Иенза будем давать имя, мальчик — Гаральд. И куда-то уехал.

Варя покачивает на коленях Иензу, слезы падают на розовое одеяльце и расходятся пятнами.

— Как же отыскала нас?

— Так... Много спрашивал. Начальник школа писал, милиция писал.

И ей говорю то же:

— Дальше-то как?

Один у нее ответ: слезы.

Наговорились, я сижу готовлю уроки, Варя с Иензой на руках топит печку. Кто-то робко стучится. Отворяю, девушка лет на пяток постарше меня тихо и смущенно спрашивает, не здесь ли живет Павел Астафьевич.

— Здесь, — говорю, — входите, только он вряд ли будет скоро. Может, что передать?

— Я к самому. Подожду.

Стул подвигаю ей, свежий «Огонек» подаю. Вижу, ей не до чтения. Подозрительно оглядывает Варю с ребенком. И мы на нее настороженно, с недоумением косимся. Некрасивая, с белыми бровями и ресницами, из-под платка выбиваются ржаные волосы. Почти теми же словами, что и Варя, спрашивает, не Таней ли меня зовут.

— Павел говорил мне о вас. Таня, говорит, у меня золотая.

Догадываюсь, что за гостья. Смех и горе.

— Это вы — Лаура?

Гостью будто жаром обдало: покраснела.

— В шутку он. А так меня — Соней зовут. Соня Пятова. А это? — она кивает на Варю. — Другая сестра, что ли?

Теперь я краснею, растерянно соображаю, как ответить. Лучше сразу начистоту:

— Панина жена это, Варя. Третью неделю у нас.

Соня стиснула обеими руками журнал и прижала к груди, словно хотела его разорвать. До сих пор я думала, что люди внезапно бледнеют только в романах. Лицо Сони вдруг словно посыпали мелом, губы искривились жалкой улыбкой.

— Какая жена? У него... Он сам говорил... — Огляну-лась на Варю с ребенком: тут, не привидение. Выронила журнал, ухватилась обеими руками за угол Паниной койки, уронила на них голову и забилась с воющим плачем.

Иенза испуганно послушала и тоже заголосила. Слышу, и Варя начала подвывать. Со стороны подумать могли бы, что у нас покойник. Подаю Соне воды, успокойся, мол, что зря разливаться. Отталкивает локтем. Послушала этот хор, поглядела на ходики, говорю:

— Вы уж вот что: одни доплачьте, мне в столовую надо, талон на ужин пропадет.

18

Наскоро перехвативши мятой картошки с селедочным хвостом, бегу домой. Боюсь, наплачутся Панины соперницы и начнут куделю друг дружке трепать. Вхожу, Сони нет. Варя говорит, что та молча встала, утерлась и хлопнула дверью.

Паня ввалился близ полуночи. Спрашиваю, видел ли свою Лауру. Видел, говорит, около избы тетки Федосьи подкараулила.

— Теперь кого ждать? Джульетту?

Слышно, стаскивает сапоги, ворчит:

— Какой из меня Ромео. Агафью Матвеевну — и хватит.

— Обломов у которой пригрелся? Варя-то чем тебе не Агафья?

Молчит. Валится на койку.

Раздумываю, на какую он вдову Пшеницыну намекает? Уж не на Федосью ли Гагину? Или на ее Капку? Подкармливают, водкой поят...

Варя прожила у нас больше месяца. Припасы, что с собой привезла, кончились, карточек у нее не было, мне кормить ее нечем.

На станцию мы проводили ее вместе с Паней. На прощанье хотелось ей разжалобить его: плакала, просила поглядеть на дочку, звала в гости. Паня вымученно улыбался и бормотал:

— Чего глядеть. Поезжай, денег пришлю.

Идем обратно, выговариваю ему, что бессовестный он, беспутный.

— Любой тебя назовет подлецом — и прав будет. У Вари жизнь искалечена. Соня как помешанная...

Отговаривается: сами лезли.

— Хоть бы и сами. Мало ли что девке взбредет... Подумать должен. В университете учился, а живешь... не лучше Митьки Коршунова в «Тихом Доне».

— Сравнила.

— Вот так. Верно Аксен Петрович говорил, душой ты ни о чем не болеешь. Будто со стороны на все. Тебе хорошо — и ладно. С Гагиными путаешься. Эти уж и вовсе на обочине. Самогонкой промышляют. То-то от них трезвым ни разу не прихаживал.

— Угощают.

— А ты и рад.

Дня через два опять так же робко постучала к нам Соня Пятова. С красными исплаканными глазами она показалась мне еще более некрасивой и жалкой. Подвигаю ей стул и объясняю, что у Пани вечернее занятие.

— Хочешь чаю? Сушеных вишен заварю. Леденцы есть, по карточкам выдали.

Соня отказывается — не до чаю! — и садится опять у Паниной койки. С минуту молча теребит платок и вдруг жалобно говорит, что любит Павла Астафьевича и будет любить всю жизнь.

— Это уж окончательно. Я ведь сюда насовсем приехала. Там у себя место бросила, хорошее, в райисполкоме. Здесь на почту взяли. В ваш техникум поступлю.

— Что же долго не ехала?

Мнется. Нездорова была.

— По душам если... ребенка вытравила. Парнишеч-

ка был. Большенький уж. В живых, думала, не останусь.

Будто хлестнула она меня по сердцу.

— Как, — говорю, — на такое решиться могла! Дитё убить... Чем оно виновато? Ну что вы за глупые! Дался вам Павел. Липнете к нему, разум теряючи. Наверно, угощала тоже?

— Как же! Веселый он, как выпьет, чувствительный. Чтобы зря, лыко не вязать, этого не было, как следует все. И уезжал, как следует, писать обещал. Не писал, — так, может, дела, я на Павла Астафьевича обиды на сердце не содержу. Стоять бы мне в сторонке да утирать слезы, а я тебе докучаю. Жалко мне его. Ты и поверила, что вечернее занятие! Как же! В гагинском притоне, сама видела.

Так меня и подкосило. Опять у Капки.

— Сходи, — ноет Соня. — Может, усовестим его.

У Гагиных не заперто. Паня в одной рубахе с расстегнутым воротом сидит у стола с бутылками и закуской и вялыми движениями всей кисти выбивает на мандолине что-то несуразное. Капка с подругой танцуют польку и сами подпевают, словно подталкивают себя:

Не ругай меня, мамаша,
Это было в первый раз,
Юбку новую порвали
И подбили правый глаз.

Паня отвернулся, когда увидел, что я стою у порога; Капка выпустила подругу, подплыла ко мне и навалилась всей тушей.

— Танюша, золотце мое, к столу. Не будь монашкой, откушай. Беленького не хошь, хлобысни красненького, у нас всякое есть. Опятками солененькими закуси.

Откушать я отказалась. Зову Паню, задачу, мол, одну без тебя никак не решить. Ухмыляется, наливает водки себе и мне.

— Хватим, Танюша. По единой. Не осуждай, человек — смешение добра и зла, так сказал Заратустра. — И пошел. Его не перезаратустришь. Выпил, опять захлестал пятерней по струнам, рыкнул Капке: —. Пляши, кариатида!

Капка нежно глянула на него.

— Что это как вы меня обзываете, Павел Астафьеевич. — И послушно заколыхалась.

Огорченная, что я пришла одна, Соня долго хлюпала носом. Усталым от слез голосом перебирала способы спасти Паню.

Приходить она стала каждый день. Отсидит на почте свои часы — и к нам. Сидит, нудно жалобится. Мне хлорные соединения надо учить, а я в двадцатый раз должна слушать, как она с Павлом безвозвратно невинность свою погубила.

Варю на кухне картошку, сосед приходит за кипятком. Цедит из «титана» в чайник, шутит:

— Эта, со снопом волос своих овсяных, к вам как на службу приходит. Часы по ней проверяю.

— Вот, — говорю, — и польза.

— Мне — допустим. А вам? Не наскучили эти излияния?

У меня вырвалось невольно, что наскучили до смерти.

— Уроки не успеваю учить. Хоть беги.

— Так бегите.

— Куда?

— Подсказать? Рядом пустует комната. Садитесь за стол и зубрите.

— С удовольствием.

Дмитрий Макарович каждый день допоздна шумит на репетиции. Готовят «На дне». Сам он и режиссер, и актер: играет Ваську Пепла.

Заниматься в его комнате и правда одно удовольствие, стол огромный, от одного края до другого руками не дотянуться. Разложу тетрадки, только бы учить, а я невольно отвлекаюсь: любопытно, какие книги читает Дмитрий Макарович. Беру из одной стопы, из другой. Пушкин, Некрасов, Толстой и десятки других — это ясно, для занятий с нами, а вот зачем ему хрестоматии по истории стран Востока, тома русских летописей, «Стоглав» и еще многие премудрости — этого в толк не возьму.

Стараюсь угадать, о чем он думает, когда сидит тут, кому пишет письма. Из учениц нашего курса он ни на одну не заглядывается, уж мы бы заметили. Может, на репетициях? Поглядеть бы, кто Наташу играет. Или Настю. Велю себе не ломать голову над пустяками и заниматься делом.

Уходить привесилась минут за двадцать до того, как в коридоре послышится быстрый перестук его кожаных сапог.

И все-таки встреч с Соней не миновала. Как-то она среди ночи привела Паню, тот едва на ногах стоял. Раздела, уложила в постель. Мне сказала, что встретила его на улице.

— Мог бы упасть и замерзнуть. Состояние повышенного опьянения часто сопровождается опасными последствиями.

Должно быть, в райсовете научилась таким оборотам.

Приводила Паню и после.

Капка в перемену придвинется ко мне, гудит:

— Рыжая-то. Подопрет у наших шабров забор и ждет, когда Павел Астафьевич выйдет. Я выбегу, погрожу космы выдрать. Подальше перейдет и опять торчит. Как собака.

— Паня-то что ее не пожалеет?

— Было бы за что. По своей воле людей смешит. Ты ей скажи: дура, мол, рыжая...

Я отодвигаюсь: пахнет от Капки как от запаленной лошади. Жестко говорю, что спаивают они брата.

— Уж лучше бы рыжая... Любит она его.

Странная эта была любовь, безответная, преданная, на любое унижение готовая. Соня и меня встречала на улице жалкой заискивающей улыбкой, извинялась, что приходила ко мне, только дома не заставала. Когда она приводит Паню домой, обязательно оставит что-нибудь для него, то пакетик сахару, то бог весть и где добытую банку меду. Углядела, что ходит он в худых ботинках, съездила в Москву и купила ему на толкучке хромовые сапоги. Чтобы застать его дома, принесла их рано утром. Паня только что встал. Сконфуженно поставила у его койки.

— Носите, Павел Астафьевич. Апрель, вода везде. От охлаждения и простуды ног возможно ревматическое заболевание.

Паня растерянно ухмыльнулся.

— Обуть меня решила? Умилить? Святая, мол, Соня Мармеладова. Кротостью хочешь взять?

Красная от смущения и стыда, словно пришла просить милостыню, Соня взялась за ручку двери.

— Ничего, Павел Астафьевич, не хочу. Сапоги я совсем по дешевке. Простудитесь, думаю... И... не пейте. Напрасно вы к Гагиным. Нехорошие они люди, грубые. Не знаю, чем они вас...

— Водкой, — подсказываю я.

Несколько дней Паня не решался надевать сапоги. Поставит их утром рядом со своими рваными ботинками, размышляет вслух:

— Надеть? Вроде на взятку клюнул. Любезностями Соньке надо платить, улыбаться, а мне глядеть на нее тоска. Не надевать? Валяться будут без пользы. Таня, как тут мне?

Я советую не кобениться и надеть, пока и в самом деле ревматизма не нажил, говорю, что за сапоги заплачу.

— Выспрошу у Сони, сколько отдала за них. О Гагиных — послушай ее, не шляйся, не позорь себя.

— Так это... плата за мою волю? — Паня в сердцах швыряет сапоги к порогу.— Пусть ревматизм, чахотка, зато — сам себе агроном.

Журнал такой выходил до колхозов, и его название — «Сам себе агроном» — было у Пани поговоркой.

Все-таки сапоги надел. И к Гагиным реже стал ходить. Как раз в подготовке спектакля у Дмитрия Макаровича прореха случилась: заболел учитель, игравший Клеща. Уговорили Паню выручить. Попробовали. Решили, что лучшего Клеща и не сыскать.

Соня уже не ходит ко мне с жалобами на бесчувствие Пани, а я все еще занимаюсь в соседней комнате. В ней много солнца, света и на душе делается светлей. Даже задачи решаются легче. Иногда засижусь, не соображу, когда соседу время прийти, читаю или сочинение пишу, а хозяин уже на пороге. Вскакиваю, собираю свое скорописание, он подбежит и за плечи опять меня посадит. Говорит, что ему приятно, когда у него тут живое существо.

— Хотите, я вам стихи почитаю?

— В гостях — в неволе. Читайте.

Сбросит пиджак, чтобы легче было махать руками, и пойдет отхватывать то свое, то Есенина — он им бредил в то время.

Расспрашивает, как я на Волге жила, что-то нет-нет да запишет. Почему-то его особенно взволновало, как

я — погода-непогода — за книжками в Кряжовск странствовала.

О себе рассказывал мало и неохотно: семья разбитая, отец в городе с какой-то мамзелькой спутался вдвое моложе его, мать осталась в Родниках, так называется деревня, из которой Дмитрий Макарович родом. Заметно было, что воспоминания его о детских годах безрадостны. Заговорит — и свернет на другое. На подготовку спектакля. Не все роли отлажены, а по селу белеют уже афиши: «10 мая силами...»

Ставили в клубе, полутемном, без потолка, помещении — когда-то здесь был фабричный склад. Сошлись все наши, техникумовские, — как не поглядеть на преподавателей в ролях босяков, набралось изрядно и аграевских.

Зрители были невзыскательны, к промахам актеров снисходительны, хлопали в конце каждого действия от души. Актеры старались, Чиликиш вытягивается на носках, чтобы больше походить на Сатина; Ванечка окал, пел и шепелявил, изображая Луку; Клещ был так чумаз и в таких лохмотьях, что я чуть узнала в нем Паню.

Боялась я, как бы сам затейник спектакля не сбился, околесицы бы вместо своей роли не понес. Нет, и у него все вышло как следует. Ждала я, как он обнимать Наташу будет. Не очень, хоть та и висла на нем.

Когда расходились, в толпе слышались похвалы актерам, особенно Пане и Дмитрию Макаровичу.

— Залесов-то! Ну, лицедей!

— И Камышин не уступит.

— Чего там. Оба — живые босяки.

Мне хотелось скорее увидеть моих живых босяков. Жду около нашего дома. Темная улица затихла, огни гасли, словно избы дремотно закрывали глаза. Из палисадника перед соседним домом и с пробела густо и свежо пахнет черемухой, — она только сегодня, после дождя, заиндевела цветом. Наверно, и у нас распустилась, на Рябиновой Гряде, белеет у двора снежным валом. И вдруг опять с такой щемящей болью в сердце захотелось туда, обнять маму и никогда больше, никогда от нее не уезжать. Паня твердит, жди каникул. Знаю, что надо ждать, но — на сердце не прикрикнешь, чтобы оно не болело. Поднялась на крыльцо, присела на ступеньку и расплакалась, точеную балясину обнимаючи. Все

тут в один ком собралось и к горлу подкатило: и что Паня живет беспутно, пьет, в бабах запутался, и что все равно ученье мое не пойдет, и что, видно, самая-то я некрасивая: других девчонок парни из клуба провожать повели, а ко мне хоть бы какой хромой подковылял...

Слышатся знакомые голоса. Мои босяки. Вздыхаю с облегчением: боялась, как бы Паня к этой тумбе, Гагиной Капке, не умотал. Хочется по-ребячьи выскочить к ним из темноты, крикнуть не своим голосом: у-у! Нельзя. Будь серьезной, Татьяна, в твои годы у матери уж двухлетний Сережа был. Когда они подходят к крыльцу, я окликаю их, не босяки ли это ищут свою ночлежку.

— Сюда пожалуйте. Пельменей не взыщите, а чайком угощу.

Приношу с кухни кипятку, завариваю горсть сушеных вишен и на блюдце ставлю на стол прозрачные ледяные карамельки, — сегодня получила по карточкам.

Актеры возбужденно спорят, чего не хватало игре Сатина и Луки, хохочут над Костылевым, как тот побежал со сцены: испугался, что Васька Пепел навтыкает ему по-настоящему.

Мне так хочется угостить их чем-нибудь необыкновенно вкусным — пирожками с картошкой или булкой со сливочным маслом и настоящим чаем, и чтобы сахару было вволю, — но у нас ничего нет, даже черного хлеба: его по кусочку дают только в столовой на завтрак, обед и ужин. И все равно мне приятно, что сосед и Паня рядом со мной, и оба они в ударе остроумия, и оба трезвы. Иногда ведь и Дмитрий Макарович приходит откуда-то чуть ноги переставляючи. Бывает, что и с технорукомдо полуночи бубнят за стеной и чашками брякают. Утром технорук прямо с постели толкнет ногой дверь и хрипло кричит:

— Камышин, водка есть?

Гляжу на Дмитрия Макаровича и Паню и умиляюсь.

— Так бы всегда. Без водки.

Дмитрий Макарович вскакивает и подает мне руку.

— Всегда? Обещаю.

Я недоверчиво протянула ему свою.

— Будто и сдержите?

Он повторяет настойчиво и еще тверже:

— Обещаю. Всегда. Астафьевич, разними.

Паня равнодушно ребром ладони разнимает наши руки.

— От водки не заречешься.

19

На соседа нашел стих заняться живописью. Еще зимой накупил в Москве всего, что положено иметь художнику. На стенах появились картины, одни он важно называл эстампами, другие олеографиями. В углу стояли холсты, вымазанные чем-то белым и натянутые на рамки, на этажерке — ящик с кистями и красками. Мне было снисходительно растолковано, что холсты не вымазаны, а загрунтованы и натянуты не на рамки, а на подрамники, ящичек же называется этюдником, с ним ходят делать наброски, эскизы и еще что-то. Похвалился кистями:

— Колонковые, не какие-нибудь.

С музыкой было покончено, скрежетанием смычка о струны, неистовым выцарапыванием гамм и «Во саду ли, в огороде» больше он нас не донимал. Прибежит с уроков, скорее на кухню за водой — значит, рисовать акварелью надумал.

Первые опыты были у него из рук вон. И рисунок колодца с воротом, видного из его окон, и копии шишкинской «Ржи» и беклиновского «Тритона и Нереиды» — все робко, неуклюже, коряво. Нереида развалилась толстая, неприлично грудастая, похожая на Капку Гагину.

Мне нравилась в нашем соседе его неугомонность: он чем-нибудь да был увлечен. В то время когда изводил нас игрой на скрипке, он терпеливо изучал труды по теории смычка, по акустике скрипки. Метнулся к рисованию — и стол заполонили толстые тома по истории живописи, руководства по технике работы масляными красками, акварелью и какими-то неведомыми мне темперой и гуашью.

Любил он и свое учительское дело, к каждому уроку читал, наверно, впятеро больше, чем надо было рассказывать. Как-то еще успевал готовиться к беседам с аграевскими колхозниками о международном положении, даже о строении вселенной. Паня посменвался:

— Универсал. Фигаро здесь, Фигаро там.

— Приходится фигарить, — оправдывался Дмитрий

Макарович.— Говорю, несведущий я во вселенной, а мне: комсомолец во всем должен быть сведущим.

Не давали ему покоя и неурядицы в техникуме. Мастерские по месяцу были закрыты, меха, привезенные из Сибири и Средней Азии, слеживались и гнили, студенты слонялись без практики. Из Москвы наезжали комиссии, обследовали, спорили. Кой-что из этих споров сосед передавал и нам. Одни доказывали, что помещения не соответствуют технологии красильного производства, другие — что техникум вообще не на месте, отдаленность его от железной дороги слишком удорожает перевозку материалов, третьи предлагали строить новые здания, отвечающие учебным целям...

Нас, первокурсников, эти споры и толки не задевали. Мы ждали каникул, я в душе торопила дни, чтобы скорее домой, на Рябиновую Гряду.

По воскресеньям Дмитрий Макарович с ящичком в руке уходил, как он выражался, на натуру. Этюды приносил скучные, однообразные: чахлые кусты, прясло, угол сарая. Незадолго до каникул позвал на этюды и меня.

— Место нашел — само на полотно просится. — Подает мне альбом и акварельные краски. — Вооружайтесь и — в дорогу.

Альбом, краски... Давняя моя мечта. Маленькими мы все любили рисовать, приохотились, наверно, от тятеньки, он ловко умел выводить фигуры солдат с ружьем. Ни бумаги тогда не было, ни красок, в ход шли лоскутья отставших обоев, обрезки фанеры. В художестве никто из нас не мог тягаться с Мишей. Рисовать он умел и углем, и мелом, даже цветной опокой. Как живые выходили медведи, зайцы, лошади... Когда тятенька привез ему откуда-то коробку красок — тоже акварельных, — мы, мелкота, не дыша глядели на таинство рождения на какой-нибудь старой картонке голубой водной глади и белого парохода с косой черного дыма. Следили, как он накручивает зеленые волны за кормой, и даже не смели попросить хоть кисточку подержать.

Краски я даже сколько раз во сне видела. То будто кряжовская библиотекарша подает мне коробку, еще наряднее Мишиной, и с необычной ласковостью говорит: «Рисуй, Таня, у меня все равно без пользы лежат», то нахожу такую коробку около складов на Гряде. Во сне

и думаю: надо крепче держать их, тогда они и останутся у меня. Прижимаю к себе и скорее домой. Проснусь, кулачки у меня стиснуты, а в них ничем ничего.

И вот в руках у меня наяву новенькая коробка с тюбиками акварельных красок и альбом, на толстых листах которого еще ни единой черточки. Владей я таким богатством лет десять назад, может, хоть самоучкой, и навострилась бы. Сейчас — только краски переводить. Где уже мне на этюды.

Соглашаюсь так, из любопытства.

Паня проверяет контрольные, дела ему на весь день. На всякий случай наказываю, чтобы никуда не умыкивался. Он отрывается от тетрадок, насмешливо спрашивает:

— Сама будешь рафаэлить или натурщицей?

— А уж это, — говорю, — братец, как обстановка сложится.

За селом, по дороге на станцию Дмитрий Макарович облюбовал такие места, от которых, по его словам, даже барбизонцы бы ахнули. Приходим. За неимением неизвестных мне барбизонцев, ахаю я. Широкая долина, невдалеке пруд с нависшими до воды ветлами. В стороне справа стена соснового бора, в который как ящерка юркнула дорога, слева Аграевка с черной, от старости, заброшенной деревянной церковкой на отшибе. От дороги по склону сбегает тропинка, будто освещенная огонькаами мать-и-мачехи, и между кустов лозняка подбирается к звонко бьющему ключу. На этот ключ редко ходят, — далеко, — но кто-то позаботился, загнал поток в железную трубу. Сбоку на скору руку сколоченная из березовых жердей скамья. Наверно, пастухи постарались на досуге.

Мы садимся, Дмитрий Макарович раскрывает этюдник, укрепляет на его крышке загрунтованную картонку и берет палитру и кисть. Я раскладываю свое художническое хозяйство, и мы ищем сюжеты.

— Разве эти сосенки взять? — раздумывает вслух Дмитрий Макарович. — Смотрите, Танюша, как изящно подняли они над собой желтые свечи! Эффектная цветовая гамма. Горячие тона подпущу. А вы какой ракурс выбрали?

Я еще не выбрала, даже слова ракурс не знаю.

— Церковку, что ли, попытаться,— смущенно говорю

я и чувствую, что нарисовать ничего не сумею, ни церковки, ни сосенок, ничего.

— Можно и церковку, — одобрил Дмитрий Макарович. — Конечно, объект религиозного культа, но поскольку закрытый... — Он энергично махнул кистью, дескать, можно, и мы оба погрузились в молчаливое созерцание своих сюжетов, потом принялись отображать натуру.

Солнечно, тихо. В сосенках и березках, выбежавших на опушку бора, какая-то пичуга причмокивает: «Тс-тс-тс», будто пробует что-то сладкое. В ручье за кустами гомозятся утки и поддакивают: «Так-так-так». Жаворонки неутомимо осыпают землю звенящими брызгами.

Церковка простенькая, а мне даже контур ее никак не удается передать. Я не огорчаюсь, мне все равно хорошо. Нравится сидеть рядом с Дмитрием Макаровичем. Сколько нас, девчонок, в техникуме, много и красивее меня и образованнее, а все-таки не с какой-нибудь надменницей третьего или четвертого курса сюда пришел, а со мной. Видно, и ему нравится, чтобы я торчала тут с его альбомом, портила его акварельки и время от времени обращалась к нему, как, мол, то, Дмитрий Макарович, да как это... Иногда голова закружится от шальной мысли: коли нравлюсь, взял бы и поцеловал. Думает, рассержусь. Или боится, как бы за это по комсомольской линии не взгрели?

Сегодня у него что-то выходит. Сосенки и березки так и выбежали на поляну, так и раскинули зеленые подолы. Рядом, как угрюмые сторожа, темные кусты можжевельника. Вроде и мазки бросает небрежно, думаешь, без толку ляпает, а получается. В ударе. О мастерах пейзажа рассказывает. Узнаю, кто такие барбизонцы, импрессионисты, что такое пленэр. Я рада, что он увлечен своей работой и ему не до моей мазни. Решаю церквушку украсить. Возвожу на ней золотые купола, ставлю белые столбы у входа... До сумерек их сооружала. Дмитрий Макарович придвинулся ко мне, посмотрел на мое благолепие, потом на меня.

— Танюша, вы сидели и грезили. Зачем эти луковицы?

— Купола. Какая же без них церковь!

— Но ведь на этой развалине их нет! В искусстве главное — правда, чтобы верное...

— А по-моему, чтобы красивее.

На обратном пути немножко поспорили. Про себя я признала его правоту, но все-таки упрямилась. Пусть доказывает. Мне нравилось, что он для меня одной ораторствует.

Солнце уже зашло, когда мы проходили мимо церкви. Кругом ни души. Долина померкла, оттуда тянет сыростью и доносятся влажные скрипучие крики дергачей. В потемневших садах пробуют голоса соловьи.

Дмитрий Макарович остановился перед входом в церковь и придержал меня за локоть.

— Помните, как Вия вот в такой же... — проговорил он таинственным голосом. — Небось и на порог побоитесь ступить?

— С вами не побоюсь.

— Будто? — Он усмехнулся и поглядел наверх. На острие колокольни сиял последний солнечный луч. — Хотите туда? Вдогонку за солнцем?

— Успеем?

Деревянные, заросшие лебедой и полынью ступени паперти заскрипели под нашими ногами. Темный провал входа, налево дверь, за ней винтом лестница наверх. Первым выглядывает на площадку Дмитрий Макарович. Внезапный шум, бурное хлопанье и свист оглушают его так, что он втягивает голову в плечи и пригибается.

— Голуби, — говорю я снизу.

Солнца мы не догнали: зашло. Сумрак густеет и здесь. Обходим площадку, трогаем прохладную медь единственного колокола, оставленного, чтобы в случае пожара бить в набат: от его языка тянется толстая веревка и через проем спускается к земле. Глянешь вниз — и екает сердце: трава, кусты, дорога будто уходит в бездонную глубину.

Никогда не было мне так хорошо и отчего-то до слез грустно, как в эти минуты на убогой аграевской колоколенке. Хотелось быть любимой, почувствовать на своих плечах его руки, приникнуть к нему всем телом и замереть от счастья. Я знала уже, что он — рядом, и томилась недоумением, неужели не понимает, что я жду его рук, его шепота?..

Что-то легонько брякнуло: это он поставил этюдник.

— Таня, — как-то жалобно и словно виновато заговорил он и робко взял меня за плечи. — Надо же когда-нибудь... Я очень тебя... Ну как это... На всю

жизнь. Знаю, ты про меня думаешь: книжный, без царя в голове... Что не любишь, ты мне сразу не говори. Может, хоть искорка найдется, а потом...

Я улыбаюсь и шепчу: «Найдется!» Хочу еще сказать, что насчет царя в голове у него благополучно, по-моему, но не успеваю: он неловко ткнулся губами в мои губы. Мне и приятно было, что он целоваться с девчонками не научился, и смешно: сошлись два неумелыша.

Из церкви мы вышли молодыми: жених и невеста. Дома будим Паню, тормошим. Он где-то успел выпить и только мычит и невнятно отругивается. Слова Дмитрия Макаровича, что мы женимся, отрезвили его.

— А я давно это, — бормочет он и переворачивается на другой бок, лицом к стене. — Стоило будить. У меня новость — да... Техникум наш — ау... ану... аннулировать. К нулю, значит. Говорят, один от него... децифицит.

20

Жизнь прожить — не поле перейти. Часто вспоминается мне эта любимая мамина пословица.

Словно в другой жизни когда-то Дмитрий Макарович был нашим соседом в подмосковной Аграевке, спрашивал меня на уроках, как склоняются местоимения, интересы какого класса выражали Гончаров и Тургенев, ставил мне отметки. Пять лет назад, здесь уже, в Родниках, я смущенно, в первый раз, назвала его Митей и сказала «ты». Думала, ни за что не привыкнуть: учитель, как можно! Привыкла. Самым близким он стал, после мамы. Иногда кажется, что и не было такого времени, когда бы я его не знала.

У нас уже трехлетний Вася, рассудительный и серьезный, с картавинкой декламирующий «Не ветер бушует над бором».

Митя учительствует в средней школе. Прибежит с уроков, перекусит и опять за порог: то ему на партийное собрание, то он агитпроп, за подписку на заем старается, то у него легкая кавалерия. Хоть и звалась эта кавалерия легкой, дело у нее было вовсе не легкое: воров, самогонщиков и всех, кому закон и совесть не указ, на людской суд выводить. Митя иной раз и с председателем колхоза зуб за зуб. С той же подпиской. Известно, туго шла. Председателя и осенило за баб взяться. Идет

в овощехранилище, картошку они там перебирали, читает по бумаге, от какой гражданки сколь Родина помоги ждет. И подводит черту: «Не серчайте, красавицы, а я не выпущу вас из этого терема, пока бумагу не подпишете». И дверь на замок. Бабы в крик, Митя на председателя: самоуправство, угрюм-бурчеевщина; отопри, скажи, что пошутил; а когда тот уперся,— в райком за пять километров потопал.

Привычное это для него — быть постоянно в делах по горло, дорожить каждой минутой. Не потому ли так воодушевила его мысль об аспирантуре, о которой случайно прочитал в газете. Не откладывая, съездил в Москву, — аспирантура там при институте философии, литературы и искусства, — разузнал, привез два тяжеленных чемодана книг и начал готовиться. Я уже знала, что если поступит, на три года расстанемся. Больше всерьез, чем шутя напоминала ему слова Грибоедова: «Любви конец, кто на три года вдаль уедет».

— Уехал твой папаша — и любви конец.

— Ее и не было, — возражал Митя. — И где же даль — полсуток езды. Хоть бы и дальше, все равно... — Подхватит меня на руки, — былинкой тогда я была тоненькой, — закружит, приговаривает, что ежели бы и на тридцать три года уехал, все равно меня не разлюбит.

Митин папаша как взят был на первую германскую войну, так с тех пор и живет на стороне. Приезжал на недельку-другую и опять год-два не наведывался. После революции пообтесался на разных курсах, в городе стал жить, большие должности занимать.

Допытывалась я у свекрови Дарьи Михайловны, что, мол, не поехала к нему, не прицепилась репьем, не сказала: «Вот я, твоя законная, а вот и сынок твой, не хочу больше розного житья». Строгая, неулыбчивая, на расспросы мои отмалчивалась, а как-то зимним вечером и на нее нашел исповедный час. Я шапочку Васе вяжу, свекровь шерсть щиплет.

— Вот ты меня все — что к Макару не поехала, — заговорила она с горькой решимостью выложить, что наболело на душе. — За добро нажитое цепилась. Коровенка, пяток овчишек, курчонки — неужто все порешить! Дом хороший, хозяйство налаженное — и псу под хвост метнуть! Одинова, будь что будет! Оставила все на шаб-

ров, отправилась к нему. И Митюшку взяла. С холодком встретил, ну гнать не гонит. Может бы, и стерпелись и притерлись друг к дружке, да первый же обед — и все у нас наперекосяк. Я говорю, лоб, Митька, окости, отец — не надо, я, говорит, партийный и кафизмов ваших терпеть не могу. Молока наливает. Не хлебай, говорю, Митька, пост нынче; отец — хлебай, не слушай, что святоши плетут. Я свое: от бога нас не оторвешь, завтра же иконы в углу повешу. А я, говорит, их на лучину. И верно, принесла образишко от знакомых, поставила, — ночью пропал. Другой достала, накрепко пригвоздила — и тот святым духом унесло. Митька, гляжу, в постный день котлетку уминает. Раздумалась, разгоревалась, из-за меня, мол, парнишка душеньку свою погубит. Поедемка, мол, Митрий, назад. И уехали. Так житье наше совсем надвое и рассеклось.

— Поженились-то... любил, видно?

— Какое! И поминать тошно. — Дарья Михайловна пригорюнилась и долго молчала. — Отец его приневолил, свекор покойный. Сударушка у моего-то была, бедного достатку только, старик родниться и не захотел. За неделю до свадьбы сударушка-то возьми и роди, будто бы мертвого. Втихомолку в огороде зарыла. Лекаря наехали, урядник, младенца отрыли и в корыто его с водой. Ежели, говорят, всплывет, задушен, стало быть. И лежит он камушком на дне, не ворохнется. Молви-то было — ну! Счастья нам никто не сулил. Откуда и быть ему? Я из семьи богобоязненной, он — мыслями вольный, за девками угонистый.

Таким, пожалуй, и остался. Митя познакомил меня с ним, когда мы в первый раз ехали сюда с Рябиновой Гряды. Завернули к нему по пути. Живой, бойкий, намного моложе своих лет, он встретил нас как-то растерянно и смущенно. Два месяца назад у него умерла от тифа вторая жена, детей, мальчика и девочку, на время взяла сестра покойной. Несчастный вдовец поздравил нас, удрученно потер лоб, наверно, чтобы показать, как он ошеломлен горем. Женский голос окликнул его из другой комнаты:

— Макарик, с кем это ты?

Вышла молоденькая, растрепанная, в халате, толстушка, видать, только что из постели. Свекру-батюшке поневоле пришлось сказать, что сынок с молодой женой

пожаловал. Кем ему доводится толстушка, распространяться не стал, дескать, не маленькие, смекнете.

Смекнули.

Новая супруга Митиного папаши удивленно и словно даже испуганно глядела то на сына, то на отца. Казалось, она сравнивала и только сейчас увидела, как стар ее Макарик. Ей было чуть за двадцать, ему чуть не пятьдесят.

Мы поспешили уйти: что мешать молодым.

Вскоре они уехали в Оренбург, и больше мы их не видели. Отец изредка пишет Мите длинные письма с поучениями, как надо держать на высоте свой моральный облик. Стороной узнаем: живут плохо, молодая клянет себя, что вышла за старика, рвет и мечет, при этом и его моральному облику достается.

Свекровь так и осталась с иконами и курчонками. В кулугурской вере своей она словно окаменела, помнит, когда какому святому молиться, когда что есть можно. По деревне уж мало кто посты блюдет. Если зазрит кого совесть, к Дарье Михайловне идут.

— Тетя Даш, Петра-капустника день-то какой, постный, что ли?

Мы с Митей люди для нее конченые, спасти наши пропащие души она уж и не чает. Когда мы в пост едим яичницу, свекровь скорбно вздыхает у печи и выражение у нее такое, словно говорит богу: «Не взыщи, господи, Митрий большой, вся деревня его по имени-отчеству, так что не в ответе я за него».

Митю, и правда, сивые старики даже, зовут уважительно Дмитрием Макаровичем. Сам он думает — за ученость, а по-моему, так за то, что к вину не привержен. Это пьяницы выдумали, будто в народе презирают непьющего.

Горе наше — пьянство. Год от году больше таких, что целые дни около сельпо переминаются, ждут, не подойдет ли кто денежный, не плеснет ли им полстакашка. Послушать их — обличители, вся жизнь сплошной непорядок. Что в колхозе не ладится, и слепой видит. Веками крестьянская жизнь укладывалась, а давно ли до самых корней переворотилась? Бывало, что ретиво ее ломали, сгоряча, вперед не заглядывая. И то сказать: кто у дела, того и беда задела. Это ли не беда: зимой на ферме от бескормицы коровы дохли, голодный рев за

версту душу выворачивал. А горластые обличители подпирают крыльцо лавки, судят, виноватых ищут, и хоть бы один сказал: «Пойдем-ка, мужики, живая тварь мучается, как-то спасать надо».

Другие спасали, особенно бабы. На колхозных собраниях мою свекровь другим в пример ставили. И меня поминали: мы с ней общим на все село огородом ведали.

За лето я до костей на солнышке прокалюсь. Покажу Мите шершавые от земли и темные, как сама земля, руки, мол, не разлюбишь с такими?

Митя и сам не белоручка. Все мужичьи дела по нашему немудрящему хозяйству его руками делаются.

Соседки говорят мне: с таким, как у тебя, что не жить, к чужим бабам не липнет, водкой ума-разума не туманит. Слов нет, степенно держится Митя. Люди думают, ни единой шершавинки меж нами. К чему другим знать, что и шершавинки бывают, и размолвки, и царапины остаются на сердце. Живут двое в такой близости, что ближе и быть нельзя, как не задеть друг друга то ли в чем-то непохожестью своей, то ли привычкой, тобой и не замечаемой. Митя обидчив, самолюбив, на какую-нибудь неловкую шутку надуется. Стараюсь растормошить его — ни в какую, молчит, как кладбищенский крест. Отступлюсь и тоже молчу. Знаю, что сам терзается от своего упрямства, а заговорить самолюбие не дает. Нет-нет оттает.

Хорошая пословица о семейной жизни сложена: не помутясь и море не уставится.

Наверно, и я была с колючками. Росли мы самостоятельными, каждый со своим характером, друг к другу не прилаживались — и без того жили дружно. А тут приладиваться надо. Взаимно. Терпеливо. Уступчиво.

Теперь молодые ни терпеть, ни уступать не хотят. Оба независимы, оба работают, часто у обоих одинаковые корочки, как они называют дипломы. Не хочешь по-моему? Пожалуйста. Еще одно заявление о разводе.

Слово терпение старинным у нас считается, отжившим, не в почете. Напрасно. Терпение всегда рядом с трудом ставилось.

Рада я, что хватило у меня терпения на эту трудную, в каждом браке неизбежную пору. Как ее лучше назвать, подгонкой характеров, что ли, обкаткой ли, не знаю.

Опять любимую мамину пословицу вспомнишь: жизнь прожить — не поле перейти.

21

Прилаживаемся.

С тех пор как Мите начала грезиться аспирантура, он заметно переменился: спокойнее стал, собраннее. Дела ему прибавилось. Читает уже не просто книги, а монографии. Материал для какого-то реферата собирает.

— Просвети, — говорю. — Реферат... фамилия, что ли?

Просветил. Каждый поступающий должен представить сочинение, которое для важности и называется рефератом.

— Про что же у тебя будет?

— Не решил еще. Хорошо бы генезис реализма в мировой литературе отхватить. Поэзия мировой скорби тоже неплохо.

Я уважительно протянула: «Н-да!» Генезис, реализм, скорбь — и все мировое. Тут уж наукой пахнет.

Времени ему от школьных занятий совсем не остается. Тешит себя надеждой на лето: поготовится как следует, составит мировой реферат — и на приступ.

У меня на лето свои надежды: хоть на недельку, на две поехать на Рябиновую Гряду. Письма оттуда все реже. Витя писать ленив, тятенька слепнет, и когда вздумает сам написать, то половины из его карябанья не поймешь: буквы расползлись, одна строчка наискось, другая поперек. И как только почтальоны адрес на его письмах разбирают.

Изо всей нашей ребячьей ватаги на Рябиновой Гряде остался один Витя. Лесовик Володька на практике, где-то на Ветлуге. Проня уж три года как учится в кряжовском техникуме на гидролеме... — чуть вывезешь! — гидромелиоратора. Болота осушать будет.

Пишет она мне часто. Почерк бойкий, размашистый. В письмах так и слышу ее смешливый голос. Дорошонкой меня зовет, не знаю я, что за слово, наверно, в общежитии переняла от подруг.

Прошлым летом только денек пришлось нам побывать вместе: ей надо было на практику. Торопливо рассказывала о техникуме, о ребятах со своего курса.

— За мной уж парни ухлыстывают, — призналась она, когда мы вдвоем сидели в лодке, вытащенной на берег. — Знаешь, я какая артистка! Не хуже Ларки, помнишь, у нас вертелась? Я и на сцене выступала, в спектакле. Не гляди, что я не красавица.

Проню и верно красавицей не назовешь: лицо широкое, веснушками усыпано, глаза узкие, да еще она их щурит, будто задиристое что-то хочет сказать. И скажет. Не по злости, по веселости души. Дружелюбная она ко всем, и все люди у нее хорошие. Унылой не припомню ее, когда и расстроится, так на минуту. Пролетит облачко, и опять у нее глаза смешливо блестят. Мама говаривала ей: «Легкая у тебя, Пронюшка, жизнь будет, с таким характером, играючи до ста лет доживешь».

Попыталась я речь с ней завести о ее будущей работе, не очень ли, мол, трудно придется, дело это мужское — болота мерить, в топях вязнуть.

Сестричка моя обиделась даже.

— А я не смогу? Мы в любом деле мужикам нос утрем. Читала, как Ангелина Паша на тракторе заворачивает? Марина Раскова на самолете? Я сама видела, как в Кряжовске милиционерша пьяного за шиворот тащила. Пусть не зазнаются. Где мужики, там и мы.

— Разница-то есть все-таки?

— С мужиками? Вот это, — она с неудовольствием повела едва наметившейся грудью. — Заглядываются, лапать норовят. И что это я девчонкой уродилась!

Обнимаю ее, глупенькая, мол, несмышленая. Толкую, что великое это счастье девчонкой родиться, стать матерью, своего ребенка к груди прижать.

Слушала она меня с рассеянной усмешкой.

— Ребенка! Еще чего не хватало! И не подумаю.

— Время придет, подумаешь. И о том подумаешь, что для самого главного надо себя беречь.

— Чего это — главное?

— Сказала уж я: матерью быть. Похвальба это, что мы с любым мужицким делом справимся. Зачем с любым-то? Вон мужики якорья со склада в завозню тащат, пудов по семи на каждого. И нам тоже пойти? На другое мы назначены.

Проня разняла мои руки, выпрямилась.

— Отсталый ты элемент. Вроде мамы. И та против равенства.

— Не мы против равенства, природа. Силы-то у нас с мужиками разные. И устроены мы по-разному. Или в контору метишь?

— Приказисткой? — фыркнула Проня.— Сидеть да губы красить? И не думала. Мечта у меня, Таня... Сколько у нас болотищ непролазных, топей, мочажин! Осушить их, и тут хлеба заколосятся, ячмень усами зашевелит, сады зацветут... Знаю, что трудно будет, только... — Она с отчаянной удалью тряхнула головой. — Что раньше времени пугаться!

В Родниках получила от нее с практики письмо. Шутливые уверения, что все хорошо, прекрасная маркиза. «Болото мне досталось — как в сказке: по одну сторону мох, по другую ох. Если бы леший надумал забрести сюда, он бы копыт не вытащил. Вместо лешего таскается прораб. У него семь участков, на самом большом хозяйничает твоя храбрая сестренка. Людей для рытья канав должны присылать мне три колхоза. Каждый день воюю с председателями: где люди? Про меня в деревнях говорят: «Залесова идет людей выколачивать». Мужики сидят у конторы, курят, в дыму чуть маячат, анекдотами тешатся. Ни одного не тронь, у всех справки. Прострелы у них, язвы, грыжи, вывихи... А ржут как жеребцы стоялые. Наберут мне десятка два лупоглазых девчонок, с этой гвардией и шурую. Грязь чалим, как зовут они рытье канав, кусты корчуем. И я тоже, где с лопатой, где с топором. Сапоги на мне длинные, по самы некуда, тяжелые, саженному дяде впору. Ботаю в них, только жижа торфяная брызжет. Гвардия у меня старательная. Комиссия приезжала из области, хвалили нас, премию дали. Мне — красную шерстяную кофту. Теперь я на кумачовый флаг похожа, издали меня видно».

В другом письме, к осени ближе, Проня победным тоном сообщала, что этим летом впервые чувствовала себя настоящей хозяйкой земли. «Полсотни гектар бесполезной топи стали плодородной землей. На будущий год на ней будет волнами из края в край переливаться рожь. Или пшеница, не знаю. О нашей работе, Танюша, хочется писать красиво, лучше бы стихами, да не умею. Ты говорила, что Дмитрий Макарович сочиняет стихи, вот его и попроси воспеть работу мелиоратора. Чтобы звучно было, возвышенно».

Я ответила, как эго замечательно, что сидит моя сестренка в болоте царевной-лягушкой и ни капельки не унывает. Вот только, мол, оду мелиораторам Митя вряд ли удосужится сочинить: мировая скорбь у него на уме, проблемы всякие, — на днях в Москву едет экзамены сдавать в институт, где ученых готовят.

22

Уехал.

Томлюсь, жду телеграммы: что там у него?

Воротился взбудораженный, петушится: «До семи раз буду сдавать. Осталось шесть». У меня так и просияло на душе: не сдал. Говорит, что Переверзев его срезал на Достоевском. Слово-то какое: срезал. Подумать можно, стоит тот с косой и срезает бедных охотников до учености одного за другим, а на него все новые напирают. Мне совсем другое представилось. Старичок, ликом кроткий, благодушно слушает, что Митя торопится выговорить, а сам думает: «И что тебе, учитель Залесов, в Родниках твоих не сидится! Бабенка там небось у тебя, сынишка, поди, растет. Поезжай-ка, братец, домой». И вежливенько ставит напротив его фамилии неуд.

Очень я этому Переверзеву была благодарна.

Митя опять готовится. Упрямый он у меня. Про таких говорят: до упаду намашется, а уж сделает, что втемяшится.

Письмо от Пани. Будто сговорились с моим: тоже на аспирантуре помешался. До этого писал то из Кулунды, то с Оки, из былинного села Карачарова. А тут из Ленинграда. Пишет, что встретил университетского приятеля, уже доцента, тот и надоумил сдавать в аспирантуру. «Подал бумаги, какие положено, являюсь на экзамен. Вид у меня как у Диогена: рваные ботинки, брюки клеш с бахромой и пузырями на коленях, рубашка апаш и шляпа с отвислыми до плеч полями. Комиссия, как сказал бы Державин, медь лысин и серебро седин. Председатель оглядел меня. «У вас, говорит, вид настоящего философа». Я снимаю шляпу. «Это, говорю, внешнее в диалектическом единстве с внутренним. Натура философская». Тут же давай меня по философии гонять. Греческие материалисты, Лейбниц, Гегель, монады, триады... Переглядываются, вишь, мол, босяк, все знает. Потом

математик насел, я и ему без отказа режу. Немецкий тощей горбоносой деве сдаю. Как говорится в романах, обменялись пленительными улыбками. Немножко шпрехен, немножко лезен, дальше не лезем и — пожалуйте ваш листочек. Высший балл и кончен бал. Зачислен, можно и покаламбурить. Скажи своему Митьке, учись, мол, у шурина экзамены сдавать. Пришел, снял шляпу и пленил».

Дальше, как по случаю вступления на ученое поприще, сложились, выпили. «Общежитие, не разгуляешься, и все-таки, видать, перебрали. Помню, что одна, с биофака, тосты выкрикивала и со мной чокалась. Потом, как у Леонида Андреева, погружение во тьму. Просыпаюсь, в комнате у меня тихо, будущие светила науки разошлись; любительница тостов рядом со мной, в постели. И эту пленил. Некрасивая, с толстыми веками. Спрашиваю, хоть зовут-то, мол, как тебя. Катя, говорит, имя хорошее, по-гречески значит беспорочная. И вообще, говорит, мы теперь муж и жена со всеми вытекающими последствиями. Ладно, говорю, со всеми, вставай, мадам.

Вот так, Танюша. Не знаю, буду ли я ученым, а женатым уже стал. Мадам у меня ухватистая, цепкая. Забрала мой паспорт, сводила меня в учреждение, где нашего брата феи нынешние казенными печатями к себе припечатывают. Как в сказке: от Варьки ушел, от Соньки ушел, от Капки ушел, а от Катьки не откатиться.

Я не жалуюсь. Мадам домовитая, хозяйственная. Месяца не прошло, отдельную комнату вырвала. Живем по пословице: стерпится (авось) — слюбится (никогда). Вообще, особа она мрачная. Когда прихожу не то чтоб очень пьян, но весел бесконечно, где бы раздеть, уложить, так нет, пошуметь надо. Глотка у нее здоровая. Кулаки тоже. Если и укладывает, так боксерскими приемами. Раз-другой — и в нокаут».

Читаешь — и жалость берет, и досада. Чем хвалится! Что комиссию босяцким видом потешил. Какая-то Катя подкатилась, женила на себе. Безвольный, живет минутным желанием. Ни ясного у него пути — таких и зовут беспутными, — ни большой цели, ради которой гореть бы надо, ночей недосыпать. Все он будто мимоходом делает, нехотя. Поступил учиться, скорее бы за трактаты — рефераты... Ему бы одержимому наукой быть, а он — весел бесконечно.

Написала ему, что не будет, мол, у тебя мой Митька учиться, как экзамены сдавать, лучше ты у него серьезности поучись, трудолюбию. В пример и Сергея привела: всеми уважаемый, потому что людям нужен, и доверие ему не только от Кряжовска, ото всей округи. А тебя, мол, в университете учили, сколько, наверно, деньжищ, чтобы тебя выучить, ухнули — и не впрок.

Не знаю, обиделся ли на мои укоры, Катерина ли ему переписываться со мной не велит, только зима прошла, весна, лето на исходе, — от Павла ни строчки.

Митя готовился, писал реферат. С мировой скорби переключился на «Лапти» Замойского и «Девок» Кочина, вообще, на тему советской деревни.

Опять уехал в Москву. В тревожном нетерпении жду, чем кончится второй заход.

Телеграмма: «Сдал принят». Читаю свекрови, говорю, какой у нас молодец Митя, а втайне жалею, что не было нынче на него Переверзева.

Приехал. Сияет. Восторженно рассказывает, какой с ним экзаменационный диалог вели светила литературной науки — Бельчиков, Гудзий, Юрий Соколов... У меня свое камнем на сердце: три года врозь. Не велика даль — Москва, приезжать будет, а все-таки... Утешаю себя: остаются же другие солдатками.

И я осталась. Ладно, что и в колхозе дел много, — в огородной бригаде учетчицей меня поставили, и по дому хлопот не оберешься, и Вася не дает скучать. По вечерам письма с ним сочиняем отцу.

Митя пишет часто, поэтому о его делах я знаю решительно все: о чем будет его диссертация, кто у него научный руководитель, что входит в кандидатский минимум, когда какую дисциплину будет сдавать.

Написала Пане, вот, мол, и свояк у тебя стал аспирантом. Думаю, хоть на эту новость откликнется.

Месяца через два ответил. Снисходительно поздравляет Митю, желает... Дальше — «только моей сестренке Танюше». Длинная бессвязная исповедь. Разочарование в науке, в мадаме, в себе.

«Неувязка с экзаменами вышла. Аспирантура — адьё. Мадам довольно складно заявила, что такого мерина кормить не намерена. В политике это называется ультиматум. Поклонился своей законной и в дорогу, искать подходящего места. Приглянулась Любань. Название

красивое, на любовь похоже. Месяца не прошло, и мадам едет: разлуки со мной не вынесла. Итак, продолжение следует. Оба учим в школе. Мадам ждет потомства. Аспирантура и для нее стала туманным воспоминанием.

На днях пожаловала Капка. Толстая, с лицом каменной бабы. Мадам поглядела на ее ручищи и от полемики с применением боксерских приемов воздержалась. Капка повыла толстым голосом, уехала.

Новое явление: Сонька. Мадам не было, гостила у родни. Сонька умница, вытьем донимать не стала. Видит, грязь у меня, окурки, пустые бутылки, постель дыбом — давай прибирать. Самого оглядела. А я в одном пиджаке, без рубахи и в тех же знаменитых брюках клеш. Ох и взгляд! Я под ним как в санпропускнике побыл. Куда-то сбегала, приносит новую рубаху и такие брюки, что у меня, Танюша, дух захватило. Мечта. Ай, Сонька! Давай переодевать меня. Я ничего, покоряюсь. Не успел пуговицы застегнуть, — мадам. Что тут было! Последний день Помпеи. Битва кентавров. Вдруг мадам осенило что-то. Выпустила Сонькину ржанину и деловито предлагает ей купить пяток каракулевых шкурок, кожаные женские сапожки и дюжину замшевых перчаток.

— Там у себя втридорога продашь.

Сонька причесывается мадамовой гребенкой, обе садятся за стол, перебирают товар, торгуются.

Идиллия.

Правда, Сонька писала потом: шкурки еще дорогой облезли; перчатки расползались, когда их пробовали надеть, сапожки оказались худыми.

Вот так и живем. Скоро буду отцом законного семейства, может быть, многочисленного, потому что по некоторым признакам мадам плодовита.

Жизни мышья беготня...»

Дочитала письмо и расплакалась: что за беспутный Паня. Вот уж верно о таких говорят: куда ни поедет, семь верст не доедет.

23

В марте я ждала второго ребенка и последние две недели испытывала почти неутихавшие боли. Надо было беречься, а я таскала с ключа из-под горы по скользкой обледенелой тропинке пудовые ведра, ворочала в печи

непомерной тяжести чугун с водой, выносила корове болтушку. Сказать свекрови, что все это не под силу мне, стеснялась. Сама она уходила с утра на колхозную работу — перебирала семенную картошку, возила с поля солому, резала в лесу ветки на корм скоту.

К середине месяца я уж не могла даже дрова покидать в печь, не то что поставить чугун на шесток или сходить на ключ. Свекровь стала оставаться дома. Вечно в делах, заглянет ко мне, спросит, как я; скажу, ничего, мол, и опять уйдет. У нас пяток куриц и корова Лаура, — мы купили ее теленком, и я в память о рыжей Соне дала ей эту кличку. Хозяйство не велико, но свекровь весь день на дворе.

Живем мы с ней мирно, за восемь лет попривыкли друг к другу, и хоть зову ее мамой, как положено снохе звать свекровь, душевной близости меж нами нет. Мама, да не родная.

Студеной, как в январе, ночью боль подступила такая, что я заметалась на постели, кой-как поднялась, зажгла ночник. На ходиках половина первого. Слезла с печи свекровь, спрашивает, что я брожу. Время, говорю, наверно, подходит Забеспокоилась, помогла мне опять лечь.

— Тверди молитовку какую-нибудь, хоть «господи помилуй», а я к бригадиру за лошадью побегу.

Час, наверно, ее не было. Боль разрывает меня изнутри, помимо воли начинаю стонать сквозь стиснутые зубы. Проснулся Вася в своей кроватке с перильцами, вылез, испуганно хнычет около меня.

— Мам, ты что? Я боюсь.

Усилием воли словно пробиваюсь к нему сквозь беспамятство и велю ложиться спать, не студить ножки.

— Не бойся, я не буду стонать.

Наконец-то приходит мама, подает мне шубенку и шаль.

— Лошадь у двора, пойдем. Васютку я к шабрам.

Пока натягиваю шубенку и повязываюсь, она успевает одеть его и отвести к соседям. Набежали бабы, потихоньку, с ласковыми приговорками, что все ладком обойдется, вывели меня под руки и уложили в розвальни.

Мороз, ветер, дорога шиблистая, полозья где скрипят по снегу, где шаркают по земле. Соломы подо мной бро-

шена самая малость, горбыли колотят меня, и при каждом толчке я беспамятею от боли. Очнусь, гляжу в небо, осыпанное ледяными колючими звездами. Светят. Я еще жива.

Родила где-то на середине пути, схлынули боли, прояснело сознание. Чувствую, как молча барахтается живой комок, теплые пальчики хватают меня за ноги; поднимаюсь, натягиваю на это живое, невидимое тельце полы шубенки, они коротки, не хватают. Тороплю свекровь:

— Гони, замерзнет.

В больнице долго не отпирали, потом сторожиха долго ходила за акушеркой. Я все тянусь, закутываю полами мое дитя, мой родной комочек, и плачу от бессильной жалости к нему:

— Да скоро ли! Мучители.

Неторопливо подошла акушерка, всхрапнула, должно быть, хотела позевнуть, но удержалась.

— Что тут за полуночницу принесло.

Подняла ребенка. Голенький, на ледяном ветру засучил он ножками и заплакал. У меня уж не было сил крикнуть, чтобы скорее несла в тепло.

Беспамятную уложили меня на носилки.

Очнулась в палате и не успела еще ни о чем подумать, даже понять, где нахожусь, как услышала свой тихий и слабый голос:

— Маленького мне... Где он? — Будто просило его, звало, требовало не сознание, а само материнское тело мое.

Сестра, круглолицая, рябая, оглянулась на меня от другой койки.

— Оклемалась? Увидишь сейчас горластого своего. Кормить надо.

Горластый. Он. Еще безымянный. Митя говорил, когда приезжал в последний раз, что назовем наше дитя каким-нибудь стародавне-русским именем. Целую речь сказал, сколько, мол, у нас таких фамилий, как Адрианов, Егоров, Лаврентьев, Демидов, Изотов, Нилин и множество иных, а где имена, от которых они пошли? Вот и выберем одно из них, ежели сын будет. Девочку Марфой назовем. Или Степанидой.

Сын. Мысленно примериваю к нему имена, какие называл Митя. Лучше всех кажется мне Лаврентий. Звуч-

ное. И ласкательные у него такие славные: Лавреня, Лавруша, Лаврик.

И вот он со мною рядом, мой Лаврёнок, лавровая веточка, глядит на меня серьезно и, кажется, удивленно, мол, вот ты, мама, какая. Туго спеленатый, он не может шевельнуть ни ручкой, ни ножкой, только мигает и кривит ротик. Даю ему грудь, и тут же зачмокала моя маленькая пичужка. Бедненький, назябся дорогой, да еще глупая акушерка подняла тебя и держит на ветру. Жизнь-то как неласково тебя встретила, лютой стужей, мученьями. Росточек мой беленький, не настудился ли ты, хворь в тебе не затаилась ли... Воркую над ним, бормочу, брежу. Унесли его от меня, сестра подходит с градусником. Слышу откуда-то издалека: «Сорок и шесть десятых». Обо мне это.

Разметалась в жару, не знаю, сколько проходит времени, но минута в минуту угадываю, когда принесут мне моего мальчика покормить. Напрягаю все силы, струной вытягиваюсь, жду.

Приходил доктор, осанистый, с толстыми плечами и бритой, словно выточенной головой. Возьмет мою руку и снисходительно пошутит, что родить в поле, да еще в мороз, не полагается. Обязательно спросит, как преуспевает Дмитрий Макарович.

— Гордимся. Первым у нас в районе кандидатом наук будет.

Изречет это и плывет дальше.

А меня кидало из палящего жара в озноб; надрожусь, опять начинаю пылать. Разбитая, обессилевшая, бескровная, наверно, не выжила бы я, не будь этого трепетного и радостного ожидания, что вот-вот принесут моего светленького ясноглазого мальчика; счастливая, умиротворенная, прижму его к себе — и он будет чмокать мою грудь и глядеть на меня спокойно и понимающе. Одного хотелось в эти минуты, чтобы рядом сидел Митя и тоже любовался нашим малышом.

Изредка наведывалась свекровь, деловито докладывала, сколько доит Лаура, у кого еще удалось прикупить сена.

— Вася-то как? — нетерпеливо перебивала я.

— На улице весь день. Прибежит, схватит кусок — и опять по лужам. Некогда с ним... Домой бы тебе время, ну-ка, месяц долеживаешь.

— Рада бы. Жар не проходит.

— Дома стены помогут. Мы, бывало, постольку-то не валивались, опростаемся, да и опять за серп да за вилы. Ну пойду, корове месить надо, курчонки не кормлены.

Все мысли у нее только о хозяйстве, о корме. Я не корю ее: всякому свое. Тревожит меня, с мокрыми, чай, ногами бегает Вася, простудится.

Просилась у доктора на выписку. Снисходительно улыбается, будто я что-то неразумное говорю.

— С такой температурой? Тридцать девять и семь?

Тон неумолимый. Как вырваться!

Придумала.

Сестра с веселыми приговорками раздает нам градусники.

— Ну-ка, Аришки, Маришки, ставьте под мышки. Поглядим, лекарства дадим.

Рассует и выйдет. Я погрею градусник до нормальной температуры и под подушку суну. Приходит сестра, записывает, у кого сколько, певуче поздравляет меня:

— На поправку пошла, Камышина. Еще денек и до свидания, до нового страдания.

Свекровь приехала за мной уже на телеге. Вышла я с маленьким на руках на крыльцо, меня так и облило солнцем и сладким запахом набухших тополиных почек.

Едем, лошадь, кажется, с удовольствием расплескивает копытами лужи, радужно сверкают брызги. На лугах направо и налево голубые озера, в них как золотые паруса, надутые ветром, отражаются цветущие ивовые кусты. Хочу откинуть одеяльце, пусть Лаврик мой в первый раз в жизни глянет на этот солнечный ликующий мир, — и не решаюсь, вдруг опасен ему сырой и студеный ветер. По ложбинам еще белеет снег, еще сугробами растянулся он в ольшанике над речкой и в березовых перелесках.

Подставляю лицо солнцу, жмурюсь, и, кажется, жаворонок поет в моем сердце. Какое это счастье жить, держать на руках свое дитя и чувствовать себя выздоравливающей! Еще немного, только въехать на этот песчаный пригорок, миновать мочажинник с кривыми дуплистыми ветлами по сторонам, одолеть вечно грязный конец деревни, а там и наш дом с палисадником и зарос-

лями сирени. Вася у соседей, наверно, стоит у окошка и ждет, когда привезем ему братца.

Набежали бабы, развязывают узелки: у той сдобная, с узором, лепешка, та выкладывает целый десяток пряженцов, та ставит на стол чашку густого липового меду. Это мне «на зубок». Все знают, что я родила дорогой, и соболезнующе ахают, дивятся, что младенец такую вытерпел муку. Наперебой советуют приметы запомнить:

— До году рыбой, Танюша, не корми, а то бессловесным будет.

— Когда спит, на другое место не переноси: душенька у него во сне летает, воротится, а его тут нет, оба тосковать будут.

— В семик не забудь его через венок поцеловать: вырастет, девки будут любить.

По шутливым голосам баб угадываю, что они и сами приметам не верят, передают их так, по стародавней привычке.

Приходит Вася. Дичится посторонних. Нерешительно встает около меня. Отвык. Притягиваю его к себе, целую.

— Что долго не шел?

— Я шел. Тетя сапоги у меня спрятала. И забыла куда. Искала, искала...

Показываю ему на братика.

— Хороший? Будешь его любить?

— Можно. Мал больно. А вырастет скоро?

— Скоро. И не заметим как.

Дома у нас холодно. Чтобы не простудить малыша, укладываю его на печке, затопляю голландку. Лаврик, зорянка моя, то и дело принимается звенеть. Плачет. Взлетаю к нему по приступку, беру на руки.

Минутами испытываю такую слабость, что темнеет в глазах и все передо мной покачивается. Хватаюсь за что попало, чтобы не упасть. К вечеру подкрадывается озноб. Даже под двумя одеялами и Митиным полушубком дрожу, поджимаю колени к подбородку и никак не могу согреться. В дремоте не замечаю, подступает жар. Сталкиваю на пол и полушубок, и оба одеяла, ловлю пересохшими губами хоть глоток прохлады. Мысли путаются, проваливаюсь куда-то и ничего не помню. Свекровь после говорила, что я много всего плела: ехать торопила куда-то, Митю поминала, Москву, Рябиновую

Гряду... Бог знает что горожу, а заплачет Лаврёнок мой, тут же проясневшим голосом говорю:

— Неси его мне, покормить надо.

Покормлю и опять лечу куда-то и падаю. Досталось и свекрови около нас. Два раза ездила за доктором. Первый раз решительно отказался: и некогда ему, и Татьяна Камышина сама виновата, — говорили ей, что рано выписываться. Во второй встретил не лучше: покою ему от родниковских нет. Вдруг согласился:

— Поедем. Ваш председатель породистого петуха мне обещал, леггорна, мой что-то от куриц начал бегать. Старичок. Обветшал.

Между петушиных дел доктор и ко мне завернул. По обыкновению с шуточками, вроде — молодой бабенке бегать надо! — посмотрел язык у меня, пощупал пульс.

— Не тифчик ли у вас, голубушка. Возможно, и пневмония, штука тоже не из приятных. Порошочков оставлю. Положимся на защитные силы организма.

О мальчике моем даже и не спросил. Похвалил председателева петуха, меленько помахал мне рукой от порога — будьте здоровеньки! — и уехал.

Одну ночь глаза в глаза переглянулась со смертью, рядом она стояла и ждала, когда оборвется мое дыхание. Непроглядная темь, и кажется мне, что надо мной земля; там, наверху, свет, прохлада, блеск зелени, а я задыхаюсь под этой смертной земной тягой. Еще немного, и сердце стукнет последний раз. Какой-то чуть светящей точкой сознания, единственной, еще не погасшей, думаю, что не должна умереть: как же без меня Лаврик и Вася? Надо собрать все силы и оттолкнуть эту могильную тягу. Хочу позвать Митю, но — чуть светящая мне точка гаснет. Тьма. Я лежу на самом ее дне, бессильная, раздавленная, сейчас конец.

Сверху, из-за тьмы, оттуда, где свет, облака, блестящая зелень, чуть слышно доносится знакомый голос:

— Таня, маленького-то бы покормить надо.

И земля раздвигается надо мной, вижу белый потолок, над переборкой желтую полоску света из кухни. С минуту лежу и еще не верю, что жива, но голос свекрови опять раздается — уже в моей памяти, и поднимает меня. Рубаха на мне мокрая от пота и при каждом шаге хлопает тяжелым холодным подолом по ногам. Подхожу

к умывальнику, собираю ее на груди по бокам и выжимаю над тазом.

— Вспотела, — обрадованно говорит свекровь с печи. — Я сорока мученикам молилась, чтобы тебя пот прошиб. Надень сменку да и полезай сюда.

Очумела от жары и бреда, сама и не соображу, что все на мне сменить надо.

С этой ночи и пошла на поправку.

24

Двадцатого июня Митя защитил диссертацию. Приехать сразу же после защиты не смог, надо было получить назначение, а через два дня началась война.

По деревне разносили повестки. С плачем, с истошными воплями матерей, с наказами отцов турнуть немцев, чтобы зареклись на Россию лезть, провожали сначала ребят с жениховскими чубами, потом запасных, семейных и бородатых.

По всему западному краю нашей земли шла война, и уже многие издревле русские области и города остались по ту сторону ее грохочущего огненного вала. Словно скорбный пепел, летели оттуда листочки, извещавшие: «Ваш сын... пал смертью храбрых»... Скоро эти листочки по всей русской земле одинаково стали зваться похоронками.

И опять то из одной родниковской избы, то из другой слышались рвущие душу вопли.

Митя пишет, что научные сотрудники института, в котором он учился, способные носить оружие, зачислены в народное ополчение и проходят подготовку. Только что выпущенных кандидатов наук обязали получить направление на работу. Описание защиты диссертации пропускаю, ищу, куда послали. Нашла и облегченно вздохнула: в Муром. Недалеко. Спокойнее читаю дальше.

«Получил нужные бумаги, приезжаю в свое общежитие, чтобы взять чемодан. По коридорам снуют сестры в белом, катят белые столы на роликах. Здание отведено под госпиталь, уже везут раненых.

На вокзале почти сутки стоял за билетом. Уезжал под пальбу зениток, гул немецких самолетов и взрывы бомб...»

До начала занятий Митя ненадолго побывал в Родни-

ках. Провожала я его как на войну: кто знает, надолго ли разлучаемся, не ждет ли там и его повестка, увидимся ли.

Однажды и я пробралась к нему по шоссе, где пешком, где на попутном грузовике. Поглядела, как он ютится в тесной комнатушке, мечется между институтом и казармой истребительного батальона, — там учат их маршировать, бить прикладом, колоть штыком. По ночам в сторону Горького с прерывистым гулом, будто отдуваясь от тяжести, летели немецкие бомбардировщики. Били зенитки, красные и зеленые пули прошивали полукруглыми строчками небо, а черные чудища гудели и гудели в высоте. Где-то с них черными зловещими каплями падали бомбы, и на земле с грохотом взлетали искореженные фермы цехов автомобильного завода, рушились дома. Потом я видела обугленные и словно рассеченные топором здания с покоробленными железными балками и висящими на них остовами кроватей.

Что же делалось там, где идут бои!

Все в нашей залесовской семье, кроме тятеньки с мамой да меня, подхвачены вихрем войны. Последним взят Витя. Проня сама пришла в военкомат и попросила послать ее на фронт как сапера: она хорошо умеет рыть траншеи. Ее послали на курсы медсестер.

Смотришь на карту, мысленно окликаешь их, где вы, мои родные, по каким краям раскидала вас эта страшная военная буря?

Вспоминать меня стали они чаще. Обстоятельно и деловито пишет Сергей, он где-то за Волгой, на трудовом фронте, почтовый ящик такой-то, что делает, говорить не положено.

Первые письма Прони, как и прежде, жизнерадостные, мальчишески задорные. И все у нее замечательное: и военком, которого она много раз упрашивала послать ее на передовую, и подруги по курсам, и казарма. «Учимся накладывать повязки, жгуты, делать искусственное дыхание, выносить раненого с поля боя. Просим, чтобы скорее на фронт. Я, как и в техникуме, отличница. Попутно выучилась стрелять из автомата, узнала, что за штука рация, так что при нужде могу быть и радисткой. Видишь, дорошонка, до чего я расторопная, зря на фронте солдатскую кашу есть не буду. Только бы танков не испугаться, когда на меня двигаться будут».

В письмах с фронта нет уже безоглядной удали, какая-то в них оглушенность. «Вот и узнала я, Танюша, почем фунт лиха, да ни какого-нибудь, военного. Пушки грохают, от разрывов земля дыбом, а ты ползешь. Чья-то рука валяется, ищешь, чья, может, жив. Найдешь, дышит, — тащишь. Никогда не думала, что такая у меня силища. Очень трудно зимой. Недавно волоку одного. Пули визжат. Засекли. Воронка от снаряда поблизости. Сваливаюсь в нее и раненого тащу. Бок ему осколком разворотило. Перевязала его как следует. Бредит что-то. Пощупаю руку — холодеет. Обняла его, ой, говорю, не стыньте, товарищ старшина, погодите, я вас обязательно вынесу. Слышите, стрелять перестали. Отдохну чуточку и дальше. Взяла у него пистолет, поддела свою шапку и немножко за край воронки высунула. Тут же пули: жжик, жжик... Ой, Танюша, по машинам велят. Что дальше, потом как-нибудь».

В другом письме дописала. «Натерпелась я со своим старшиной. Что дотемна делать? Ладно, мороз был не шибко злой, а все одно у меня, кажется, и кости-то заиндевели. Подумай, раненому каково, беспамятному. Я хоть шевелиться для сугреву могу. Ой, достался нам этот денек. Чуть замутнело да снежок посыпал, давай, говорю, товарищ старшина, из этой могилы выцарапываться. И везучая же я! Живого доставила. А мне — спирту полкружки и спать, спать...»

Родная моя! Так бы и разделила с тобой все твои тяготы!

С передовой, из самого шквала войны, летят треугольнички, исписанные рукой Ивана. По некоторым его намекам угадываю: на Западном направлении. На третьем году войны письмо от него из госпиталя. Пишет, что был контужен и лежал как мертвый в снегу. Вместе с убитыми стали и его зарывать. Очнулся от удара мерзлой глыбы в грудь, охнул, пошевелился. «Слышу, говорит кто-то: «Стой, братцы, живого хороним». Выволокли меня, на грузовик в кузов и в госпиталь. Поломок во мне существенных нет, на другой же день встал на ноги; веки только не захлопываются, день и ночь глаза пялю. С неделю маялся. Да еще память потерял. Помню, как меня свои же чуть на тот свет не спровадили, а что допрежь было, все куда-то провалилось. Из какой части, не помню, куда шли, не помню. Говорят: дезертир. Дали бы под за-

вязку, не заверни опять тот шофер, что в госпиталь меня привез. Расписал, как было, выручил»...

Паня пишет — по моим догадкам — из-под Ленинграда, переводчиком служит, допрашивает пленных. Еще у него обязанность — пробираться к вражеским позициям и в усилитель толковать немцам, что советского народа не одолеть им и что идут они на верную гибель. «Выкрикнешь — и в сторону, глядишь, на том месте, с которого просвещал немцев, земля дыбом от разрывов мин»...

Письма коротки, особенно ежели писаны на казенном листочке с портретом Кутузова и строгими указаниями: «Выше черты не писать!», «Ниже черты не писать!»

Володя с самого начала войны — техник по обслуживанию военных самолетов на аэродромах. И опять по скупым и только мне понятным намекам заключаю: это его письмо из Армении, это из далекого и сказочного Ирана. Подписывает он их важно и манерно: «Старший сержант технической службы Вольдемар». Служба ему не по душе: одно беспокойство. Каждый самолет надо расчехлить, провернуть винт, раскапотить, заправить бензином, расшвартовать... Ураган войны где-то далеко, за сотни километров. Вольдемар может помечтать. Грезится ему тихая жизнь в лесу. «Теперь мой идеал — природа, и тут я целиком на стороне Льва Толстого, который тоже обожал нетронутую флору и фауну. Пребывание с младенческих лет на Волге зародило во мне тихую натуру и стремление погрузиться в стихию природы. Буду жить в лесу, заведу тихую, любящую и верную подругу жизни, а не какую-нибудь сумасбродную курву, вроде — помнишь? — Лариски...» Нарисует беглыми наметанными штрихами профиль воображаемой подруги жизни, курносенькой, с вьющимися локончиками, и подпишет: «Мечта твоего брата Вольдемара».

Война. Утраты.

Осенью сорок первого года где-то на Западной Украине погиб Витя. Немного фронтовых писем дошло от него. В последнем, которое я получила, писал, что с группой солдат оказался отрезанным от своих. Две недели скитались в поисках перехода через линию фронта, днем хоронились от немцев по балкам и перелескам.

Ни единой весточки больше, ни похоронки.

Пропал без вести.

До конца войны, даже год-два после Победы, теплилась еще надежда, что придет, воротится из плена.

Не воротился.

Слепо, наугад выведенными буквами тятенька писал, как горюет мама.

Чем я издали могла утешить ее?

А на пороге у них стояло новое горе: тяжело больным, с палочкой прибрел Миша. Взят он был в первые дни, как началась война, и отправлен куда-то на восток. Спешная подготовка, походы, как писал он, с преодолением водных преград. Одно из таких преодолений кончилось для него простудой и чахоткой. Два месяца пролежал в госпитале и вышел по чистой.

Читаю его письма с дороги. «Куда теперь? Не работник и не жилец. Зойке и детям не нужен. Одно у меня место, где ласковая рука глаза мне закроет, — Рябиновая Гряда, родной дом. Знаю, горе везу маме и тятеньке, но — что делать?

Очень я слаб, Танюша. В Перми ночевал на пристани, ждал парохода. Лежу на полу, вещевой мешок за спиной, стащить — сил нет. Ночью слышу, лямки обрезают, одну чиркнули ножом, другую Даже крикнуть не смог, такое изнеможение. Паек был в мешке, на неделю вперед выдали, хлеб, сахар. Маму с тятенькой думал угостить»...

Голодный, чуть переставляя ноги, пришел он в наш обветшалый уже домишко. Как раз в это время я долго не получала тятенькиных каракуль. Жду со дня на день, и вот — Мишино письмо. С Гряды.

«Опять я, Танюша, под родным кровом. Как здесь было шумно когда-то. Помнишь, все мы любили петь, и мама тоже. Сидит за своей машинкой «Зингер» и заливается: «По долинам и по взгорьям»... Она все наши песни знала. Сейчас тихо, уныло, только отец в чулане стонет. Несчастье на него за несчастьем. Слепой, а теперь и обезножел. До меня это случилось, недели за три. На подволоку полез, досок нет ли каких на дрова. Пошарил, стал спускаться и — мимо лестницы. Чуть не насмерть разбился, на ведра угодил боком, на разный хлам. Дядя Стигней пособил на постель его отнести. Мама скорее в Нерядово за фельдшером. Тот сказал, что два ребра пополам, кость в бедре — крошево, которое никакая медицина не соберет. Стало быть, что само заживет, то и

ладно. Отходил отец. Ни привстать, ни повернуться, ни по нужде выйти. Все легло на маму: и за пайком в Кряжовск, и дрова добывай где хошь, и по дому все делай, мой, стирай, заплаты плати... И меня, лишний рот, принесло. В первые дни с удочкой на бережку сиживал, глядишь, пяток-десяток подлещиков и скрасят наш скудный рацион. Сегодня пошел с крыльца, чую — все, отрыбачил Михайла: с горки, может, и снесут ноги, а в горку не вынесут. Постоял перед палисадником. Каждый день выбираюсь постоять тут да поглядеть в ту сторону, где у меня Зойка с ребятишками. Писал ей, хоть на часок, мол, их привези, умру скоро. Неужто сердце у нее не дрогнет?

Сядешь у постели отца, в разговорах мало-мало отведешь душу. Жалеем, что радио молчит, батареи давным-давно сели. Письма ото всех наших ему перечитываю. О твоем Мите выпытывает:

— Слышь, Макарыча у нее и на войну не берут. Доценка, говорят. Это как понять? Калека, что ли? Или умом поврежден?

— Зачем, — говорю, — калека. Звание такое: доцент. Ученый. Кандидат наук.

— А кандидат — это как понять? Не шибко, стало быть, ученый, а так... кандидатишко в ученые. Ну, коли лоб крепкий, может, и до настоящей учености достукается.

Несведущ я в ученых ранжирах, наобум толкую, что и кандидатом жить можно. Паек хороший дают.

Сначала, как я приехал, тятенька, хоть и смутно, а видел меня. Сейчас — не маячишь, говорит, черно. Может, это я почернел? Очень я, Танюша, болен, долго не протяну. Мама уверяет, что поправлюсь, каждый день по яичку мне варит. А я не обманываю сам себя. Месяц-два — и с кону долой. Проститься бы нам, Танюша, перед этим невеселым часом, да вот задача: как приехать тебе? На пароходах сейчас и люди и грузы только военные. Разве по телеграмме от нас?..»

Пришла телеграмма, что брат при смерти. Куда я с ней в городе ни совалась, везде одно: частные поезки отменены.

Через неделю письмо, написанное кем-то под мамину диктовку. Ученически крупные буквы. Наверно, нерядовская девчушка постаралась, та, что письма разносит.

С примиренной и усталой скорбью мама извещала меня, что Миша отмаялся и схоронили его на гом берегу Волги на кокшайском погосте.

25

Кончилась война, отгремели салюты в честь Победы, и летом я наконец-то смогла поехать на Рябиновую Гряду. К своим я стала теперь немного ближе: мы живем тоже на Волге, в большом городе, Митя преподает в университете. Он и рад бы со мной, но ему не до путешествий: пишет, пишет. И сразу две работы, одна ученая, исследование о советском романе, другая — историческая повесть о Смутном времени. Мите не писать нельзя: как же еще докажешь, что ты не просто кандидат в ученые, а в самом деле ученый.

Я свободнее. Ребятенок, Васю и Лаврика, оставила в Родниках у бабушки. Написала братьям, что еду на Гряду, зову собраться после долгой разлуки, может, который и откликнется.

И вот опять передо мною берега моего детства и юности. От Кряжовска добираюсь сюда на попутной лодке, пою с нерядовскими и ураковскими бабами «Катюшу». Из-за поворота выплывает наш старенький обветшалый дом. Сердце екнуло, таким он показался мне сиротливым, заброшенным. Почернел, оконные стекла с радужными разводами, похожими на нефтяные пятна на воде, крыша подернулась мхом и прогнулась. Ни палисадника, ни городьбы вокруг огорода, на их месте крапива и стеной высокий голенастый чернобыльник. На всей Гряде, кроме нашего домика, только избенка дяди Стигнея с огородишком и ближний склад с наполовину разобранной тесовой крышей: видать, скоро не будет и его. Нет ни Чувлеса, ни Марлеса, ни дома с резными наличниками, в котором жили Муфелев и Лариска. Зато Гряда стала настоящей Рябиновой: по всему пригорку вымахала рябиновая поросль; маленькие рябинки, теснившиеся возле ручья, стали большими деревами.

Первым вижу дядю Стигнея. Бредет с наметкой по берегу, закинет, не спеша вытянет на песок, поглядит — нет ничего, дальше плетется нога из-за ноги. Увидал меня, остановился, поглядел из-под ладони.

— Татьянка вроде?

— Она самая, дядя Стигней. Здравствуй. Мои-то живы ли?

— Здравствуй. Давненько не заглядывала. Твои что ж, существуют. Заждались.

Взбегаю на пригорок и тяжести чемодана не чую. Окошко из чулана открыто, слышно, тятенька гудит как шмель: молится вслух, деву Марию поминает. Дались ему девы. Со двора слышно шкрканье и звон пилы. Заглядываю туда из сеней. Мама стоит спиной ко мне перед козлами и мается над какой-то жердочкой. Пила большая, с двумя ручками, свободный конец у нее мотается, зубья только царапают на целую четверть. Ставлю чемодан и с замирающим сердцем, — как, мол, сейчас удивится мама! — захожу с другой стороны.

— Давай, — говорю, — вместе, спорее дело пойдет.

Так назад она и откинулась, пилу в сторону, руками всплеснула.

— Доченька приехала!

Повисла на мне, запричитала. И ясным-то солнышком я для нее взошла, и зоренькой-то алой после ноченьки темной занялася, и на радость отца-матери белой лебедью залетела. Вдруг озабоченно спросила, не голодна ли я, видела ли отца.

— Рада, хоть встает, по нужде ведерко нашарит. А то все под себя. Измучилась. Пойдем-ка, возвеселим старого.

Тятенька сидит на постели, ноги вытянуты под штучковым одеялом, за спиной подушка стоймя. Едва я окликнула его, расплакался, протянул руки.

— Та́нюшка, где ты? Днем тебя провожал, а встречаю ночь-ночью, как в могилу зарытый.

Обежал пальцами мою голову, прижался как дите беспомощное, обиженное, которому всего дороже, чтобы его пожалели.

Мама ставит самовар, вынимает из сундука чистую браную скатерть и раскидывает на столе. Я выкладываю из чемодана хлеб, сахар, заокеанскую тушенку — выкроила из нашего литерного пайка. Глядя на все это, мама пригорюнилась, и Мишу припомнила, и Витю, и маленького Санечку.

— Не сидеть им с нами одной семеюшкой, не вести с нами речи приветные...

Тятенька окликает ее из чулана:

— Не рви душу. Не воротишь.

— Знамо, не воротишь, — устало откликается мама

Я помогаю тятеньке добраться до стола, угощаю его белым хлебом и сладким чаем.

— До сахару дожили, — умиляется он и причмокивает. — На вид-то какой он, стал забывать.

Говорю, что всю войну и мы его редко видывали.

— Митя однажды привез. Даю младшему своему кусочек, не берет. Камень, говорит, не хочу. А ты, мол, лизни. Лизнул. И уж сам просит: «Дай белого камешка».

Мама торопится рассказать, что пишут и откуда сестренка моя и братья, когда и кого, по ее догадкам, ждать на Гряду в гости.

— Да ты сама почитай, — она кладет передо мной аккуратно перевязанные пачки писем. — Это вот Прося пишет. Не чаяли и весточки от нее дождаться.

Я тоже не чаяла. Все самое горестное передумала. И вдруг весть орженное, ликующее письмо: жива, идем на запад, а что было, как-нибудь после. Я уже знаю из ее писем ко мне, что было, но все равно с волнением читаю, каких мук натерпелась она в окружении. Голос у меня сипнет, я то и дело откашливаюсь, вытираю слезы, а мама сияет, будто слышит ее живой голос. Тятенька вытянулся в мою сторону и приставил к уху ладонь, чтобы ни словечка не пропустить.

«...Отрезали наше подразделение, — немного от него осталось, шестьдесят пять бойцов да нас две — санитарки. Какое это счастье, что у нас лесов много. Будь местность степное, окружили бы — и конец. Леса выручили. Идем наугад. Конец октября, дожди. Четыре дня хоть бы крошка хлеба. В одном месте как кумачом устлано: клюква. Ой и напали. Едим, едим... Оскомина, зубы ломит, челюсти сводит от кислоты, а мы все едим. Повеселели, взбодрились. В котелки ее набрали, в пилотки, кто во что, и дальше. Ой, спасибо тебе, клюква-ягода. Опять шли, шли, ой, мамочка родная, всего в десяти письмах не описать. До партизан дошли. Командир — чернявый, с густыми сердитыми бровями, а так добрый, дядей Петей зовут, по-настоящему Антон Петрович Бринский. Голодные мы, да и орава немалая, а он сейчас же приказал накормить нас, отоспаться дал. А когда выстроил нас, похвалил, что с оружием пришли. Будете, говорит, нашими партизанскими новобранцами»...

В другом письме — как из них отдельный отряд составили, рацию дали, Проня радисткой стала.

Еще письмо. Наши наступают. Опять вместе с армией — и на запад.

Это из Польши. Пишет, как ее, контуженную, уложили вместе с убитыми на повозку. «Будто во сне слышу, колеса скрипят, кони всхрапывают, и не могу ни пошевелиться, ни сказать, неужто, мол, не видите, что я живая. Везут и везут. Чья-то холодная голова брякает о мою голову. Хоть бы простонать, и этого не могу. Кто-то говорит: «Панянка-то живая! глядите, плачет». Чую, что у меня слеза ползет к виску, значит, про меня это. Сняли — и в госпиталь. Вот какие на войне обороты бывают».

В который уж раз мама принимается плакать — и от жалости — ну-ка, удары какие девчушка вынесла!— и от радости, что все эти страхи позади.

Последние письма из Василькова. Я уже знаю, где это: под Киевом. Пишет, что за фронтового друга вышла и фамилия у нее теперь самая украинская — Червонюк. «Жду не дождусь часу, чтобы с вами свидеться, на Гряде побывать. Да вот беда: Микола у меня в больнице, осколок у него под сердцем. Сделают операцию, подлечат и тут же к вам».

— Приедет, — утешенно говорит мама. — А что замуж без родительского согласу, так кто его нынче спрашивает. Да еще в той кутерьме. По сердцу друг дружке — и свято дело.

Всех наших перебираем.

Сергея в области большим чином поставили. Тятенька уважительно напоминает:

— В системе Главлесбумснаба. Начальник.

Володя на Вятке где-то обосновался, в лесах; подругу жизни завел, не такую тихую, какая грезилась ему в далеком Иране, зато хозяйственную и пробивную. Сельмагом заведует. О его женитьбе мама рассказывает с мягкой прощающей улыбкой.

— В деревне квартирует. Идет вечерком по порядку, какая-то развеселая куфеза в окошко выставилась, заговаривает, посмеивается. «Молодец, чего ищешь, не яроч-ку ли? Есть у нас приста́лая, зайди». В шутку зашел. Дочка куфезина самовар сейчас, водочку на стол. Слово за слово, и улестили парня, приворожили. Женился, не

поглядел, что у бойкой Наташи пятилетний хлюст от первого мужа.

Павел опять в Любани, у них уже двое ребят. Правда, появление последнего он называет биологическим недоразумением, потому что перед этим не видел мадам больше трех лет. Но — чего не бывает!

Иван, как и до войны, ведает в Кузьме такелажным хозяйством. Анна все так же неистово ревнует его к модным конторским фифочкам и называет чертушкой.

Тятенька интересуется, в каком у меня Дмитрий Макарович звании, ежели к военным приравнять.

— На полковника потянет?

Наобум говорю, что, пожалуй, майора хватит.

— И майор — сила. Поди, и книги пишет?

— И книги пишет. О писателях. Вроде как Белинский раньше.

— Чего лучше. На писателей критику наводит. Стало быть, генералом перед ними. По всем статьям ученый. А вот Панька сбился.

— Как не сбиться, — вмешивается мама. — Весь в тебя: только и есть на уме, что бабы.

Тятенька виновато понурился и промолчал. От сытости он разомлел, стал дремотно дергаться головой. Я опять увела его в чулан.

Съездили с мамой на ту сторону Волги, на убогое, голое кладбище, постояли у Мишиной могилы. Мама пожаловалась и мне и богу на Зойкино жестокосердие.

— Приехала все-таки. Ребятишек — двое у них, что у тебя же, — ни одного не захватила. Не наглядится на нее Миша, за руку держит, выспрашивает, как живешь. Слышу, буркнула: «Сам знаешь как. Дико, в окошко лоси заглядывают». О детях ему узнать не терпится, что, мол, с собой не взяла. Опять срыву ему: «С собой... И там как собаки надоели, только жрать просят. Хошь, так привезу». Миша — как не хотеть, вези. Уехала. Думали, на другой день оборотится, а ее нет и нет. Выберется он с палочкой на пригорок и глядит, ждет... Не дождался. Экое у нее каменное сердце. Жив ли, нет ли, поди, и не ведает. Бог ей судья. Поедем-ка, тоскливо, чай, там нашему слепенькому.

Дома — день за днем в делах. Решили с мамой, ни к чему теперь сеновал, спать там некому, сена давным-давно нет, давай разбирать на дрова бревенчатый накат.

Заглянул на шум дядя Стигней и велел нам слезать.

— Свергнетесь еще, убьетесь. Женское ли это дело.

Кликнул, вроде на помочь, знакомого нерядовца, сидевшего на берегу с удочкой, и в один уповод распилили весь накатник, искололи и сложили в поленницу.

На подволоке отыскала я ведро с мелом, решила печку побелить. Мама и тут вспомнила Мишу.

— Тоже на печь косился, вишь, мол, как паровоз черная. В троицу помню... Недельку, говорит, еще поваляюсь, отдохну и побелю. А через недельку глаза ему горемычному закрыла. Как человек ни планует, а смерти не минует.

Будто улыбнулась печка, когда высохла после моей побелки. И в доме посветлело. Мама уселась к столу тятенькины исподники платить, я — худые носки надвязывать, какие в печурках нашарила. Опять у нее только и речи, что о нас да о тятеньке.

— Сама-то,— говорю,— как эти годы жила?

— Сама? — В голосе ее недоумение, словно я напомнила ей что-то такое, о чем она давно позабыла. — Всяко. Не помню уж как. То дела, то горюешь. Люты змеи сердце сосут, горюч камень ко дну тянет. Витя — каким мне только не видится! И пулями простреленным, и саблями изрубленным... Миша и день и ночь в глазах. Сергей и Володя, ладно, в затишке были где-то, а другие? Проня — лихая головушка, Иван с Павлом? В самом побоище. Одна дума точит: уцелеют ли? С отцом нянчилась, тряпки из-под него стирала. До себя ли!

Всю жизнь маме было не до себя. О детях заботы, о муже, хоть и рвал он ей сердце своим распутством. Терпела, только бы отец был у детей. Все ради семьи. Себе последний кусок, что останется, на себя — старье, дочернины обноски. И — вон какую артель вывела за порог, проводила с Рябиновой Гряды. Летите в любую сторону, кому какая мила.

Как она жила эти годы, как Мишу старалась поднять на ноги и металась между ним и разбитым, беспомощным стариком, больше наслушалась я от дяди Стигнея. Сидит он у себя на крылечке, из тальниковых прутьев вершу плетет. Подсаживаюсь к нему ступенькой ниже.

— К твоим старикам заглядывал ли? — повторяет он мой вопрос. — А как же. Шабры. Друг к дружке хорошие шабры до гроба добры. И теперь заглядываю, как,

мол, скрипите? Трудненько досталось им это лихолетье. Дивишься, как и выжили. Способие бы им, думаешь, какое оказать, сам чуть ноги таскаешь. Дровец иной раз подкинешь на истоплево. Рыбки принесешь, на, мол, Ондревна, попотчуй Остафьича да и себя не забудь. Самого попотчует, себя, так и знай, забудет. А ведь хиль хилью, без ветру ее шатает. Мученица Ондревна великая. — С минуту он молча крутит на коленях вершу. Я гляжу на него снизу вверх: ой, постарел дядя Стигней, и волосы, и брови, и борода изжелта-седые. Мысленно тороплю его: о маме начал, говори же!

— Мученица, — утвердительно повторил он. — Перебрать святых преподобниц — ни на одну сэстоль бед не наваливалось. Тут Остафьич колодой лежит, тут Михайла полымем полыхает. Ни дров, ни хлеба, ни щепотки чаю... Курочка у нее водилась. Ондревна, бывало, не нахвалится: каждый день яичко несет. Михайлу и подкрепляла. Да ведь и к яичку хлеб надобен. Так она что? Шаленку свою или баретки какие в узелок и на гору, по деревням, на горсточку муки сменить. Машинку за пуд с четью спустила, Мишу, говорит, подкормлю, он и поправится. Да где! Еще как возвернулся он, видно было: не жилец. Чахотка. Эта змея как примется сосать, да в голодуху, живым не отпустит.

— С похоронами-то как она?..

— Сладила-то? Хоронить — не алмаз гранить, дело не хитрое. Как он развязал Ондревну, я и говорю: ты тут повой над ним, легче будет, а я на лодке в Кряжовск за домовиной сгоняю. Привез. Нерядовские понабежали. Честь честью уложили Михайлу, отвезли. Разошлись безо всяких поминок. Чем помянешь? Поклонилась Ондревна всем в пояс, благодарствую, мол, люди добрые, на помоге. Идет на двор, шарит курочкино гнездо, чтобы Остафьичу яичко сварить, — хвать, пусто. Кличет курочку, тип-тип-типает, — сейчас, мол, прибежит. Не бежит, не откликается. Пропала. Не чудо ли! Михайлу на погост — и курчонка с двора долой. Сама ли куда ушарашилась да люди подхватили, ястреб ли где растрепал, кто ее знает. Нет, и все. Больно ее тогда жалела Ондревна.

Дядя Стигней ставит за спину немного недоплетенную вершу и скручивает папиросу чуть не с капустную кочерыжку. С минуту курит молча, пуская дым в сторону,

между перил, но злой махорочный дух добирается и до меня.

— Свой, что ли? — спрашиваю я и отгоняю ладонью зеленые ядовитые волокна.

— Табачок? Свой. — Стигней с удовольствием крякает. — Кустишек десятка два возрастишь, лопухи развернутся во! — с газету. Весь год и сосу. Так я об Ондревне байку до точки не довел. Что ни помню ее — а ведь сколь годов на моих глазах мельтешит! — хоть бы раз в новой обувке-одежке увидел. И тебе, бывало гляжу, новое платьишко справит, и Прасковье, а сама — и в заплатках сойдет. И ни в какой она у вас хвори, окромя тифа, не леживала. На ногах пошатается, и ладно. Вот такими матерями Расея и держится. Сколько у вас в эту войну в солдаты пошло? Шестеро. Вот то-то. Переведись Ондревны, земля запустеет. Не в обиду молвить, баба не та пошла.

Я даже руки врозь: ай да Стигней, до решения женского вопроса додумался. Любопытно мне, как он его трактует, но тут мама окликнула меня в окошко:

— Дочь, заворковалась с кавалером. Щи стынут.

Утром вижу, дядя Стигней в старинном, синего сукна картузе с острыми, на проволоке, краями тульи спускается с парой весел к реке. Спрашиваю, далеко ли надумал. Говорит, что в Кряжовск. День базарный, ягод купить, грибков. Напросилась и я, грести, мол, буду.

Плывем полегоньку вдоль бережка, ураковские нас обгоняют, нерядовские. Смеются:

— Эй, паралитики, на буксир не зацепить ли?

— Что, дед, мохом одет, видно, уж мотор-то плохо работает?

— Газуйте, а то до вас весь базар расторгуется.

Мы отшучиваемся, мол, выгадываем: под конец все по дешевке будет.

Наконец больше никто нас не обгоняет, и я напоминаю дяде Стигнею его вчерашнее изречение по женскому вопросу. Так какая же нынче баба пошла?

— Кто е знает, — тянет он нехотя. — Самомнительная. Безарканная.

— Не пойму что-то.

— Ну как же! В прежнее время что-нибудь да держало ее. И мужа побаивалась, и свекра, шабров стыдилась, да мало ли! А нынче — никакого аркана.

У меня и охоты нет спорить со стариковским ворчаньем — «в прежнее время». Говорю только, что рассуждения эти самые архаические.

— Это какие? — ощетинивается он. Седые брови торчком, взгляд колючий. — Архерейские, что ли?

— Не архиерейские, а так... Отсталые.

— Ясно, отсталые. — В словах старика сквозит детски искренняя обида. — Где за вами упрыгать! Ни вожжей, ни хомута знать не хотите.

Чтобы вернуть его приятельское расположение, я миролюбиво прошу растолковать мне, как он понимает роль этой сбруи в трактовке женского вопроса.

— Учености, гляжу, в тебе много, — отфыркивается он все еще раздраженно. — Так и понимаю: вольная баба стала.

— Ну и хорошо.

— Чего лучше! Семья для нее хомут, дети — кандалы, ото всего готова отлягнуться. Я — вольная, душа веселья просит. Вот и говорю: безарканная. Что у ней превыше всего? — Самоуслаждение. Детей не надо, обуза; лекаря — пожалуйста! — выпотрошат. Жить по Ондревниному, семьи ради, — куда там! Этак-то, мол, только в старое время жили, пропади оно пропадом. В Кряжовске захожу как-то в аптеку, снадобья от прострела нет ли. Молодка, гляжу, крупичатая, годов под тридцать, груду резиновых сосок берет. Неужто, говорю, детни столько? Фыркнула. Я, говорит, не дура спокойствия себя лишать. Плечиками туда-сюда и поплыла. Спрашиваю девчушку за прилавком, куда же, мол, ей это добро? На банки, говорит, берут, вместо крышек. Вот тебе и трактовка. Видишь, по какому тракту соски пошли: на банки да на клей в конторах. Война грозой великой прошла, народу убыль несчетная, а уж крупитчатые поплыли. Не дура, говорит, из-за детей спокойствия себя лишать. Умна, з-зараза. Как с такими людскому переводу не быть.

Терпеливо возражаю, что надо и в положение женщин войти: все они работают, жить трудно, время ли о большой семье думать. И то, мол, в соображение возьми: все теперь учатся, обидно с дипломами около зыбок сидеть.

Наши, мол, женщины идут, — решила его горьковскими словами пронять, — вперед и выше.

Стигней насмешливо вздернул бороду.

— Ну-ну, идите. Выше-то куда же? В генералы-адмиралы? Небывалое дело: все мужичьи должности вам давай. Ополоумели. Иной раз и не спохватитесь, что вы — бабы, что должность-то у вас на земле особая. Диву даешься: куда Пашка, туда и Машка. Пашка в матросы, шваброй по палубе шлепать, а Машка наперед его куропаткой. Что, мол, я в штанах ходить не могу? И ходит. От мужика не сразу отлику найдешь. Водки при случае не меньше выхлещет. Пашка за рюмку, Машка за стакан. Ни в чем уступки мужику знать не хочет. Покажи ей на Ондревну, вот, мол, у кого жить учись, на смех подымет. От таких пустодуек и поруха в семьях идет.

Подзуживаю дядю Стигнея, уж так-таки, мол, одних баб винить надо, мужиков и упрекнуть не за что.

Попризадумался.

— Тут речь особая, давай так ее поведем. Кем семья держаться должна? Мужиком. Какой главный корень семьи? Мужицкий. Хозяйка хоть разученая будь, распочетная, в чинах-орденах, а звание роду кто дает? Мужик. Я так мыслю: что бы ни менялось, отец на своем месте останется. Семьедержавец. Нет отца — и настоящей семьи нет.

Думаю, куда это гнет дядя Стигней, чего акафестит мужикам, или не видит, что в порухе семей они не в пример больше баб виноваты. Оказывается, видит, это у него только теория была. Перешел к практике — и уж какой там акафист! Анафема. Страшный суд мужикам начался за пьянство и повреждение нравов.

— А еще говорил, — в шутку напоминаю ему, — «Пашка за рюмку...»

— Так это, — отмахивается дядя Стигней, — для складу. Какое за рюмку! Мужики тут, что и говорить, верх берут. Словцо я по радио слыхал, на такой случай подходящее: перевалируют. Павел-то у вас, говорят, из-за водки ученые чины растерял?

Обидно мне за брата. Уклончиво отвечаю, что водка никому не прибавляла ума.

— Ты ведь тоже на Гряде-то частенько...

— Колобродил, — виноватым тоном договорил дядя Стигней и вздохнул. — Пока по башке не стукнуло. Гре-

шил да зарешил. Не всем я рубцы на душе показываю, иному в смех, может. Допрежь Гряды жительствие мое в Сарапуле было. Дерзко я пил в ту пору, на весь Сарапул обславлен. Жене век сократил, и поминать тошно. Сын подрос. Бывало, и ему плесну, давай, мол, по маленькой, привыкай предела держаться, не перехлестывай. При мне держался, а как разъехались, я сюда, он в Пермь, с якоря его и сорвало. Семишники водились: в носильщиках на вокзале состоял. Женился. Видел я у него бабенку, славная, крепко над ним караул держала. К лекарям в другие города возила. Один попоил его каким-то зельем и наказал: ни глотка чтобы, глотнешь, леченье мое прахом пойдет, а сам на всю жизнь одержимым к водке останешься. И зазвали его дружки на свадьбу. Пристают: не отрывайся от массы, пей. Он — наотрез. Ладно. Вроде лимонаду ему подносят, не ломайся, говорят, хвати сразу, лимонад-ситро не сожжет нутро. Хватил, а это водка. И так его сразу перевернуло, такая, видно, тоска обуяла, что той же ночью повесился. Меня известили. У могилы уж его увидал. Лежит в гробу чернее земли, и у меня все в груди почернело, казню себя: ты убил его — «по маленькой»... Воротился тогда на Гряду, одно держал в мыслях: порешу себя. Или посыновьему над собой сделаю, или голыш за пазуху и с баржи в воду. И то думаю: ладно, угробишься, а толку что? Сынка не возвернешь. Нет уж, говорю себе, живи, Стигней, про свое горе не благовести, жалеть тебя не за что, в поминальный срок к сыну на могилку съездишь. И вроде у меня с того время душа на чужую печаль-тоску зрячей стала.

— Тогда, — говорю, — и от вина отшатнулся? Помню. Крепок же ты. Столько годов, и никому не обмолвился.

— А так и сказал себе: не благовести, — повторил Стигней. — А что отшатнулся... Ну как тебе это... Ударило — очнулся, думаю: все. По правде ежели, пустохвальства в людях много. Я — ста пью да ума не теряю. Какое! Ведь вот беда: еще порухи военной не избыли, а пройдись по Кряжовску, тот во хмелю чудит, тот чуть ноги переставляет. У ребятенок глядя на них игра: «Юрка, ори шибче, руками маши, ты будешь пьяный, а я милиционер». Погодь малость, Юрка так заиграет, что с ним и настоящему милиционеру лиха достанется. На базаре

как-то гляжу, знакомый парень ползает в пыли, мычит. Мать над ним плачет, горюнится. «Лучше бы, говорит, весточку я с войны получила, что честную ты смерть принял, чем на такую твою погибель глядеть». Вот до чего. Подумать только: какого супротивника в эту войну одолели! А водке — не то что отпор дать, тыщами в плен сдаемся. На, матушка, губи.

Дядя Стигней выговорился, молчит. Кто сочтет, думаю я, сколько из-за водки таких пришибленных горем. Припоминаю, как в Аграевке технорук с похмелья окликал Митю: «Камышин, водка есть?» Я и теперь постоянно в тревоге за Митю, вдруг свяжется с любителями поднимать тосты за науку. Раз навеселе придет, два, а там не удержишь. Не о пьянстве ли и сложилась эта поговорка — лиха беда начало. Мама за всех сыновей тревожится. Заговорит о Пане и за сердце хватается: так и мерещится ей, что он где-нибудь беспамятно пьяный.

Не спеша взмахиваю веслами. Тихо. Изредка донесется требовательный гудок парохода, пристающего в Кряжовске или окликающего встречное судно. Волга слепяще светла, и незамутненно отражается в ней зубчатая стена левобережного бора, стога, сметанные над черной отвесной кручей, сизо-белые, словно фарфоровые облачка. Где-то впереди два мужских голоса слаженно поют любимую в нашей семье «По Дону гуляет казак молодой». Опускаю весла, прислушиваюсь и вдруг узнаю: тоненький, так и взвивается, Иванов голос, пониже — густой, над Волгой стелется — Панин. Лодки не видно, значит, берегом идут, вот-вот из-за кустов покажутся. Обрадованно кричу дяде Стигнею, что это наши.

— Правь к берегу, тропой к ним побегу.

И вот они уж близко, узнали меня, машут. Паня в полинялой шляпе, сдвинутой на затылок, в кирзовых сапогах и без рубахи, в голые плечи врезались лямки вещевого мешка. Иван в новом костюме, с пестрым галстуком, в руке блестит никелевыми уголками и запором кожаный, наверно, заграничный чемодан. Любит пофорсить. Как Анне такого щеголя не ревновать!

С налету обнимаемся, я смеясь называю их стариками, они меня старухой, — шутка ли, с Иваном пять лет не виделись, с Павлом семь. Рядом врезается носом в берег лодка, и дядя Стигней стоя, опираясь на кормовое весло, окликает гостей.

— Воинам-освободителям! — Будто на митинге, он размахивает картузом. — Садись, герои. — И спокойнее поясняет: — Мы с Татьяной на базар было, да пес с ним!

Дорогой возбужденно, бессвязно расспрашиваем друг друга, говорим, что Сергей в гору пошел, Проня и Володя семьями обзавелись...

Шумно было у нас в тот день за столом. В середину посадили слепого отца. Мама оглядывала нашу застолицу с изумленным умилением, глазам не верила. После смерти Миши все одни с тятенькой, все одни. Иван выставил заморского, с яркими наклейками вина, помянули Мишу и Витю, пожалели, что до Победы не дожили. Паня пустился рассказывать, как он уговаривал немцев сдаваться в плен.

— За Неманом это... Ка-ак сзади меня «катюши» начали тоже... уговаривать, думал, в землю вдавит. Рев надо мной, небо в огне... С месяц столбняк не проходил.

На губах Ивана снисходительная усмешка.

— Пуглив. Эко диво снаряды, хоть и термитные. Пусть летят. Вот ежели тебя в окопе «тигры» утюжат, это да, не задремлешь.

И пошли вспоминать такие страхи, что тятенька, ни на одной войне не бывавший, шепотом молился какой-то деве, а мама вздыхала и плачущим голосом приговаривала:

— Вот и Витенька, наверно, так же.

Вечер, а нам никому из-за стола неохота вылезать. Паня облокотился о стол, подпер ладонью щеку и запел: «Ой, туманы мои, растуманы». Мы подхватили — и все-то песни военной поры за этот вечер перепели.

Иван уехал утром, неотложные у него дела по должности; Паня — через два дня, говорит, приемные экзамены в техникуме, да и мадам долго пропадать не велела.

Я гостила еще почти месяц. Каждый день говорила себе: завтра поеду. Митя ждет, о ребятишках сердце болит, как они там у бабушки? Глядеть ей за ними некогда, накупаются в пруду — вода ледяная, ключевая, — простудятся. Начнешь собираться, и так сделается жалко оставлять моих старичков, что скрепя сердце отложишь еще на день.

Наконец собралась. Прощаюсь с тятенькой. Он сидит на постели, слепо тянет ко мне руки и ноет, как маленький:

— Где ты?.. Не свидимся уж... Лекарствица бы мне какого прислала... Умру скоро.

Мама проводила меня до конца пригорка. Встала у последней рябинки, пожаловалась, что ноженьки ходить стали плохо.

— К отцу пойду, горюет, чай, там.

Я обнимаю ее в несчетный раз, целую ее щеки, источенные морщинами и залитые слезами, обещаю до зимы приехать еще.

Иду тропой вдоль пенистого приплеска, поминутно оглядываюсь и машу маме, — она держится одной рукой за ствол рябинки, другой шевелит в воздухе, словно крестит меня. Между нами врезается косматый выступ берега, я подхожу к самой воде и все равно ни мамы, ни Рябиновой Гряды больше не вижу.

27

Годы, суета, скорби...

Нечаянно, где-нибудь на ходу, взглянешь на себя в зеркало и будто постороннего пожалеешь: ой, какая ты стала, Танюша! Поседела, вдоль щек пролегли морщины, уж не для того ли, чтобы легче по ним сбегали слезы?

Не во сне ли мне привиделось, как сидели мои мальчишки за столом, рисовали, а я вязала варежки им и спрашивала: «Сыны мои, сыны, кем-то вы у меня будете?» Вася отвечал: «Солдатом», Лаврик звонко выкрикивал: «А я генелалом!» Четыре года было ему, и он еще не умел выговаривать букву р. Через два года студеным февральским утром на санях повезли мы с Митей хоронить его на нашем деревенском кладбище. Нет сил говорить, как Лаврик мой заболел, как пришел доктор, взял его тоненькую ручку, подержал и не глядя выпустил, словно для него она уж была неживая.

— Менингит. К сожалению, болезнь вступила в такую фазу, что... рад бы утешить вас, но... состояние мальчика не оставляет надежды. Вам тяжело будет видеть его агонию. Советую, отвезите в больницу, — он назвал ее адрес, — через два дня вам выдадут труп и необходимые справки.

Я с возмущением сказала, что мы будем лечить.

— Есть же какие-нибудь лекарства!

Доктор пожал плечами, присел к столу и размашисто выписал рецепт.

— Капли, облегчающие агонию. Все другие лекарства уже бесполезны. Сочувствую вам. Жестокий это удар, но... будьте тверды.— Он поднялся, еще раз посоветовал нам бесполезно не мучиться видом агонии нашего сына и стал одеваться.

Ошеломленная сидела я у постели Лаврика, прижимала к своим щекам и губам его пылающую ручонку, чтобы ко мне хоть немножко перешел его жар. Все во мне кричало, что не может быть того, что сказал доктор. Мы спасем нашего мальчика, надо что-то сделать сейчас же, не откладывая: мне — скорее в аптеку, Мите — за другим доктором.

Лаврик покорно пил капли и впадал в забытье. Другой доктор хмурился, потирал лоб и тоже говорил, что медицина еще не всесильна.

Потом все было как долгий страшный сон, и я ждала, что вот-вот он кончится и я опять обниму живого моего мальчика и никогда больше, никогда с ним не расстанусь. Обряжала его, укладывала в гробу, остро пахнущем сосной, говорила о нем с другими — и словно не о моем Лаврике, — он где-то живой, читает по картинкам книжку «Плюх и Плих» и ждет меня. Вгляжусь в серое худенькое личико с темными впадинами глаз, и резнет по сердцу: да ведь это он, мой мальчик, он умер. Припаду к гробу, накричусь и опять отупею, делаю все как во сне и говорю о мальчике, лежащем в гробу, как о другом, не моем. Мне этого тоже жаль, но — что, мол, делать.

В городе у нас не было еще ни одной могилы близких, родных. Сереньким февральским днем повезли мы его на розвальнях на родниковское кладбище. Накануне крутила вьюга, дорога была мятижной, лошадь плелась нога из-за ноги. Бедный мой мальчик, и родился-то он на морозе, и последние часы на земле холод леденит его. Я закутала гроб как можно теплее, одеялами, выпросила у соседей ковер.

На середине пути возница завернул в чайную. Зашли и мы с Митей отогреться. Садимся за стол, нам подают чаю, и вдруг сердце у меня обрывается и падает: я здесь, в тепле, а он... Говорю Мите: «Пей, я к Лаврику, один он

там... Холодно ему». И бегу, обнимаю гроб, говорю со своим мальчиком, дышу под одеяло...

Как смогла я все это вынести, как выдержало сердце, не захлебнулось болью и криком! Видеть последние содрогания его тельца, чувствовать, как из его ручонок переходит в мои руки последнее тепло, услышать его последний долгий трудный выдох и не умереть самой! Дай волю отчаянию, умерла бы. Одумаешься: а Вася? Как же он без меня? Плохо ему будет. И старички мои на Рябиновой Гряде горевать будут. Надо жить.

И живу. Только солнышко будто вполовину против прежнего светит. Утром провожу Васю в школу, Митя уйдет на занятия, останусь одна. Пусто. Упадешь на колени перед кроватью, на которой Лаврик умер, взвоешь: «Господи, уверую в тебя, слезами благодарности изойду, вороти моего мальчика!» Загляну под кровать, вдруг он притаился там, посмеивается, вот, мол, как я здорово спрятался,— нет, пыльный пол, одни валеночки его стоят.

В дневнике исписываю о нем бесчисленные страницы, будто говорю с ним, письма ему пишу.

«Звездочка ты моя, во тьму ты канула. Прислушиваюсь, вдруг голосок твой послышится. Как ты — слабенький уже, больной — шептал мне: «Мама, не уходи!» И ушел сам, а я осталась на тоску безутешную. Вот и мне люты змеи сердце сосут, горюч камень ко дну тянет. И мне бы умереть, положили бы меня рядышком с тобой, и ты бы сказал: «Мама, что ты как долго не шла!» — как говорил, когда я уходила куда-нибудь.

Идешь по улице, забудешься и начинаешь оглядываться: «Лаврик-то мой где, отстал, видно». Ищу его глазами, и вдруг как огненным прутом хлестнет по сердцу: нет его, умер. И хлынут слезы. Зайдешь в чьи-нибудь ворота, выплачешься и дальше бредешь.

Каждое лето мы с ним в Родниках жили, там игрушки его, рубашонки, там его маленькие приятели. То и дело езжу туда, будто еще надеюсь, вдруг он там. Оттуда в город спешу, опять в тайной надежде на чудо, и здесь его нет. Где же искать мне моего мальчика? Я должна его найти, я всю одежонку его берегу, его книжки, лекарство, которое он не допил...»

«Живу двойной жизнью, одна внешняя, обыденная, серая: Васе шьешь что-нибудь, готовишь обед, ходишь в

магазин; другая — потаенная, когда я остаюсь с моим мальчиком, говорю с ним, вижу его во сне. Каждый вечер как молитву твержу: «Приходи же сегодня!» Ложусь и рядом пальтишко его кладу, обнимаю его, будто самого Лаврика, шепчусь с ним и засыпаю. И каждую ночь вижу его, переживаю с ним всю его недолгую жизнь. То гряды мы с ним поливаем в огороде, то полем идем по грибы, то я от болезни его уношу куда-то... Проснешься, втихомолку ульешь подушку слезами, чтобы Васю и Митю не разбудить.

Прошлой осенью Лаврик пропал куда-то. Как испугалась я, как металась, искала его, на улице встречных спрашивала, к детскому парку побежала, оттуда к Волге. Бегу назад, ноги подкашиваются. Вижу, толпа около нашего дома и в ней мой Лавруша. Откуда силы взялись, птицей подлетаю к нему, хватаю на руки. «Мальчик ты мой родной, куда ты пропал?» Жмется ко мне, жалеет, что встревожил. «Я не пропал. Картинки у одного глядели. С волшебным фонариком». Мне говорят: «Выпори, чтобы в другой раз не убегал без спросу». Выпороть... Что вы!.. Да я так счастлива, что он нашелся.

И больше не найдется. Никогда. Только прядка золотисто-русых волосенок осталась,— остригли их с холодной уже, неподвижной головы моего мальчика».

«Каким он сердечным был, как понимал, что у меня на душе! Маленький мой друг, обо всем-то мы с тобой говорили, сердце с сердцем. Пытаюсь так говорить с Васей — не выходит. Скучно ему со мной. Митя вечно в своих делах. Обоим не до меня».

Исписываю одну тетрадку, другую...

Не сойти бы с ума.

28

Годы, утраты, печали.

Отмаялся тятенька, схоронили его рядом с Мишей на том берегу. Володя уговорил маму переселиться к нему, дом на Рябиновой Гряде продать. Переселилась, дом продали. Дел у мамы стало—только поворачивайся. Двое маленьких — одному семь месяцев, другому полтора года. За старшим, Володиным пасынком, тоже пригляд нужен. Даровой нянькой обзавелись. Мало того, и домашней работницей, хоть, по годам и здоровью, не бог весть какой расторопности. В семьдесят пять легко

ли дом обиходить, обстирать всех и чтобы куры и боров на дворе были сыты.

В конце лета я была у нее, поплакали с ней о моем горе, она рассказала, как схоронили тятеньку.

— Три сынка приезжали. Павел наведался, Ваня, Володя. Подумали, везти на кряжовский погост далеко, давай на тот берег, Мише не так одиноко будет. Воротились, помянуть сели. Выпили мои сынки, о делах своих поговорили, потом — ну, мама, прощай, по домам пора. Проводила я их. Как с пригорка спускаться, вслед поглядела, оглянутся, мол, помашут. Нет, спорят о чем-то, не оглянулись. Уехали сыночки. Хоть бы который спросил, как ты, мама, одна-одинешенька жить будешь? Годочки твои преклонные, жилушки вытянуты, силушка на нас ушла, занеможешь, кто тебе водицы испить подаст? Не спросили, вдруг, мол, репьем прицепится. Маленькими в спор пускались, как меня в старости покоить будут, белым хлебцем с медом кормить сулились, на пароходе катать. Состарилась, не до меня стало. Не виню их и сердца на них не держу. Добрые они, только их свои заботы издолели. Стала одна жить-поживать, век доживать. Поначалу сердце с тоски заходилось. Ваши голоса чудились. Ночью явственно так Миша пить попросит или вдруг Астафьич окликнет. А никого, тьма, будто в могиле заживо. Вот и случись, что Наталья в лавке проторговалась. Сказывают, за бог спасет потаскивала. Тут кого ни виновать, суда не миновать. Видать, и надоумила Володю, возьмем-де старуху к себе, домом недостачу покроем, все лучше, чем под суд.

— Здесь-то как? Без обиды?

— Пока обходительные. Наталья с маленькими скружилась бы без меня.

На другой год вместо «пока обходительные» мама говорила: «Пока терпят». На третий — «Пока не гонят». Дети подрастали, сама она делалась все беспомощней и не могла уже стирать на всех, носить воду, мыть полы. Наталья все чаще покрикивала на нее: «Сидишь барыней. Хоть бы подмела».

Глядя на нее и Володин пасынок иссобачился; кривляется перед бабушкой, в лицо ей гавкает: зажилась, с ума спятила.

Не спятила мама, только беспамятной стала, детски наивной. Расплачется от обиды, через минуту опять улы-

бается. Говорит она разумно, знает, какой сегодня день, какой идет месяц. И вдруг на Рябиновую Гряду запросится. Скажешь ей, что нет у нас дома, продали. Спохватится.

— Что это я... Ну да, продали. Голова, Таня, как старый бредень делается.

Рубаха на маме грязная, чулки истлели. Плохо приглядывает сноха. Заикнулась я, что в баню бы сводить маму, Наталью как обожгло.

— Без тебя знаю, тоже мне учительша явилась. Вези к себе да и манежь.

Увезла бы, будь у нас хоть самую малость с жильем получше. Две конурки в студенческом общежитии, в одной я с Васей, в другой Митя, ему без отдельного угла никак нельзя: к лекциям готовится, пишет.

В газетах обнадеживают: скоро жилье строить начнут. Пока разоренные войной города отстраивают, потом и у нас возьмутся.

В одном из первых же больших домов на самом берегу Волги и для нас нашлось место. Едва успели переселиться, спешу за мамой.

Тихим летним утром мы сидим с ней в плетеных креслах на верхней палубе парохода и неотрывно глядим на горный берег. Родные места. Барский сад темнеет на самом венце, отсвечивают окна нерядовских изб, вот и конек нашего дома показался. У самой воды стоит белобородый старик с удилищем под мышкой. Я тормошу маму, узнаешь ли? Рябиновая Гряда. Узнает. По-молодому вскакивает и облокачивается на барьер. Я встаю рядом.

— И на что красоту этакую променяла,— жалобно приговаривает она.— Жить бы да жить. У воды-то Стигней, поди? Покричать бы.

— Не услышит.

— Где услышать. Не чаяла, что Гряду увижу. И-и, сколько тут пережито. Бывало, за стол плечо к плечу усядетесь, любо глядеть. Сердце поет. Выросли — и за порог на восемь дорог. А как Мишу на погост отвезла, Вити не дождалась, будто по куску сердца отрывалось. Отец был жив — какой-никакой — все двое. А там и его, калеки, не стало... Год, что ли, я тут одинехонька прожила, не памятно тебе?

— Два.

— То-то. Натерпелась. Одинова, гляжу, Володя ко

мне по бережку. К себе звать. Покоить, говорит, будем твою старость. А домишко загоним, чего жалеть: трухлядь. Подумать, говорю, дай. В другой раз опять с улещаньем. В третий — какого-то сивого бородача ведет. Вот, говорит, дом охотится купить. Мы уж и о цене сладились. Ладно, мол, коли сладились. И осталась я бездомной. Покидали кой-какую худерьбу в лодку, Володя еще раз груду бумажек пересчитал, ехать бы. Постой, говорю, уполовник забыла. Что — уполовник! По сеничкам еще, мол, пройдусь, огляжу все в останный раз. Вхожу, пусто, новый хозяин баню оглядывает, огород. Прижалась к печке, прости, мол, родимая, и кормила ты нас, и лечила, и грела. Приоткрыла заслонку, гляжу, горшок тыквенной каши в уголке. Вытащила, облезлую ложку нашла и села на крылечке. Что каше пропадать, давай прямо из горшка уписывать. Собака подбежала, черная, с большущими ушами,— Стигней завел, все, дескать, живая душа рядом. Ластится. Хошь, мол, что ли? Ложку себе, ложку ей, все и выскребли. Володя ерзает в лодке, кричит, чтобы я скорее. А я — так бы и не ушла. Солнышко, Волга блестит, бабы с песнями в лодке едут... Приволье-то! И что, мол, я ума решилась, уехать надумала!

Какие-то из ее жалоб до меня не доходят. Обегаю глазами Рябиновую Гряду и словно глохну, охваченная воспоминаниями: их гак много, что они теснятся, путаются — не знаешь, какие из них удержать. На мгновение вижу себя лет пяти. Я сижу на лужке и перебираю разноцветные бусы, складываю их в берестяной бурачок или высыпаю в раскрашенные деревянные ставцы; на ноги себе меряю крошечные лапоточки. Все это принес мне откуда-то из-за Волги Миша.

— Купил?— спрашиваю я его.— В лавке?

— Такого добра и в лесу много,— усмехается он и вытаскивает из кармана еще какую-нибудь свистульку или монисто из медных копеек с дырочками.— Тамошние люди богу кереметьке молятся, на пеньках ему и оставляют кто что.

Не успеваю припомнить все его находки, другое перед глазами: голодные, бродим мы по берегу и собираем раковины; Паня выдирает из них улиток, он говорит, что это устрицы. Я складываю их в котелок, зачерпываю воды и варю на костерке. Еда выходит противная, устри-

цы как резиновые, мы жуем, давимся и ни одной проглотить не можем. Если бы хоть щепотка соли!

А это лет через десять. Весна, половодье, вечер. Волга разлилась, деревья и кусты на том берегу по пояс в воде. Ко мне прибежала с горы нерядовская подружка, мы носимся по пригорку, ловим и тискаем друг дружку, и мне так хочется, чтобы она была мальчишкой и чтобы он любовался мной и был в меня влюблен. Над темным вздыбленным берегом сияет голубая звезда. Мы ее зовем Вечерницей, наверно, она и тревожила меня своим чистым неземным светом.

Прощаюсь с Рябиновой Грядой. Увидимся ли?

Мама издали узнает Кряжовск, семенит на нос и тянет меня за собой.

— Может, Сережу увидим на пристани,— озабоченно пришепетывает она.— Телеграмму бы ему надо отбить.

— Опять ты,— говорю,— забыла. В областном городе Сергей живет. Лет уж двадцать.

— Забыла,— опечаленно соглашается она. С минуту шевелит губами, словно думает сказать что-то и опасается, вдруг опять скажет что-нибудь опрометное. Наконец нерешительно спрашивает, скоро ли в Кузьме будем.

— Близ полночи.

— Вишь ты, время какое неурочное. Иван-то... в Кузьме у нас? Одним бы глазком глянуть. Как он? Пенсией, поди, кормится?

— Пишет, что поработать упросили.

— Уважаемый, стало быть. А уж вот Прасковья и знать не знаю, где жительствует.

— Далеко.

— То-то, что далеко. Пропиши ей, сколь, мол, ты годков, Пронюшка, к нам не наведывалась.

— В прошлом году была. Об эту же пору.

— Затмило.— Мама виновато качает головой.— Мужик-то у нее путевый? Видела?

— И ты видела. Вместе были у нас. Давненько, правда. Говорит, что хороший.

— И семья — как быть надо?

— И семья. Двое детишек. Третьим, говорит, округляюсь. А когда-то — ну! — слышать не хотела о детях.

— Какая семья без детей! Бог детей не дает — испо-

кон веку несчастьем почиталось. Что она — служит, чай? Нынче все где-нибудь да место занимают.

Рассказываю, что Проня в тех краях большие дела делает: где воды зря много, осушит, где нехватка — проведет.

— Людям на пользу — чего лучше,— одобрительно кивает мама.— Паня-то у нас при каком деле?

— Учительствует.

Пароход отваливает от кряжовской пристани и выходит на широкий, багряный под закатным солнцем плес. Делается свежо. Я увожу маму в нашу двухместную каюту, приношу снизу кипятку, и мы сидим с ней за маленьким столиком и пьем чай. В душе у меня ласковая тишина: мама со мной. Я угощаю ее белым хлебом,— она по-старинному называет его калачом,— подвигаю ей сахар,— не стесняйся, клади, теперь всяких сластей вволю.

Гляжу не нагляжусь на ее милое морщинистое лицо с беззубым ртом. Не хочется мне расстраивать ее и говорить, что Паня и сейчас живет безалаберно как-то, но она не дает мне отмолчаться. Обязательно ей скажи, в каком он городе, не бросил ли пить.

— Чай, сквозь вином провинился?

— Пишет, что зарешить думает. Куплю, говорит, новую шляпу, постригусь и начну жить по-новому.

— Где уж... С прохладцей живет. Душа о других не болит. О таких и молвлено: беда для того, кто любит кого, а хуже того, кто не любит никого. Дети — а любови не было. Варькина-то девка... Большая, поди? Как ее?

— Иенза. Невеста. Выучилась, библиотекаршей где-то.

— С Катериной-то... Как он ее? Мадама, что ли?

— Всяко. И Мадама. Бои, говорит, идут с переменным успехом. Шутит.

— То и горе, что он ко всему шутя. А как другим от его шуток, и помышленья нет.

Вернее не скажешь. Хоть той же Варе каково? Ни вдова, ни мужняя жена. И эти — Соня Пятова, Капка. До сих пор липнут к нему. Соня была у меня весной. Замужем, дети, и все еще бредит первой шальной любовью, думает отбить Паню у Катерины.

Недавно привалила и Капка. Трехобхватная, лицом

и ухватками смахивает на здоровенного мужика — и тоже не может его забыть.

Наладили ездить к нему, Соня весной, Капка осенью. Соня прилаживается взять кротостью, прикармливает Паниных ребятишек шоколадками. Катерина уже вцепилась в ее рыжий перманент, но той неймется.

Капка считает Соню супротивницей несерьезной. Больше беспокоит ее, что у Пани еще одна любовь завелась. Пытаюсь образумить ее: какая любовь! Старик, на пенсии второй год.

Спорит:

— Пенсионеры нынче сытые, бойкие, жируют. А что Павел Астафьевич — у меня полная информация: со вдовой танкиста крутит, та его винцом к себе припаивает. Сама их в скверике засекла. Оба веселые. Сидит он с этой шушвалью в одних носках. Ох, думаю, блатная! разула, чтобы не удрапал. Я его потом и одного настигла. Неверный ты, говорю, мужчина, Павел Астафьевич, держался бы одной меня.

Так и канителятся. Паню больше всех осуждаешь: беспутным живет, без пути, за который перед людьми стыдиться не надо, без цели. А ведь она могла быть, серьезная, большая цель; сам признавался, что профессора еще в университете пророчили ему славу математика. Пренебрежительно посмеивался: «Что слава? Мираж». Мне говаривал: «Твой Митька книги сочиняет, к славе рвется. Скрючился за столом, оплешивел, а где его слава? Ради чего плешивел? Пил бы лучше».

Вспоминаю этот разговор, мысленно возражаю Пане, сама прибираю в каюте, укладываю маму спать. Ей начинает казаться, что мы дома, на Гряде. С беспокойством спрашивает, скоро ли отец придет. Сердце у меня тоскливо сжимается. Объясняю ей, как несмышленому ребенку:

— На пароходе мы. Ко мне едем.

Спохватывается, сама дивится на себя.

— Забыла. Туман какой-то нашел.

29

В городе ей все чудно: вода льется прямо из стены, огонь на плите голубым веером, а что горит, неизвестно; в большом ящике двигаются и говорят люди, заглянет

сзади — нет никого. Выйдет на балкон — и опять ей странно, что на большом зеленом дворе, окруженном пяти- и девятиэтажными домами, редко послышится ребячий выкрик, зато от собачьего лая звон в голове. С балконов гулко перегавкиваются овчарки, похожие на матерых волков, мордастые боксеры, заносчиво перетявкиваются косматые пуделя и разные кукольные жужутки. Стаи разномастных псов носятся по траве и клумбам. Некоторых, должно быть особенно дорогих, прогуливают на цепочках по асфальтовым дорожкам.

— Эта вон, барыня, что ли?— спрашивает мама о толстой краснощекой женщине, впереди которой выступает тоже толстая гладкая собака с обрубленным хвостом, загнутым кверху как большой палец, и с черной лакированной сумочкой в зубах.

— Теперь нет барынь,— говорю я.— Это кассирша из гастронома, в соседнем подъезде живет. Бездетная, с мужем развелась, от скуки и завела кобелька.

Кассирша доплывает до своего подъезда и строго окликает кобелька, шествующего дальше:

— Григорий, куда! Ты что, пьяный? Забыл, где живем?

Григорий сконфуженно опускает голову, хлопает ушами и поворачивает назад.

— И ведь зовет-то!— мама осуждающе поджимает губы.— Будто с мужиком идет.

— А это ее мужа так звали.

Идет еще женщина, тоже с собачкой, беленькой, с пуговицу. Собачка задорно кидается на других псов, которые подобродушнее, неистово и звонко лает.

— Мальчик, не шуми,— уговаривает его хозяйка.— Будь наконец воспитанным.

— Бездетная тоже,— со вздохом решает мама.

Поддакиваю: одна живет, муж на рыбалке утонул. Пьяный.

На пустой детской площадке под красным грибком сидят пенсионеры, дымят и важно рассуждают о потеплении в Европе. Мама и на них дивится: здоровяки, неужто делать нечего? Сама же рассудительно возражает себе: то-то что нечего, ни на колодец бежать, ни с дровами возиться, все тебе добрые люди припасли, и воды, и огня.

Упросила она меня свозить ее к внуку Васе, погля-

деть, как живет. Поехали. В диковину ей были и трамвай, и троллейбус, и городские люди, особенно молодые — лохматые, долгогривые парни, девушки с распущенными косами, синими веками и в таких коротких юбках, что едва обтягивали ягодицы.

— Бедность, видно,— сочувственно вздыхала мама, глядя в окно трамвая на уличное многолюдье.— Материи не хватает. Где хватить, люди все больше толстые, на ширину много уходит.

Негромко втолковываю ей, что не от бедности это: мода, вроде поветрия.

— На толщину-то, что ли?

— На юбки. Толщина — это от лишней сытости. Сахару много едим. Углеводы.

— Ишь ты... засахарились. А эти саврасы-то... Вот уж волос долог, да ум короток. Гляди-ка, с девкой в обнимку идут. При людях. Огаркам-то что, им только волю дай, а эти шалавы... Бессовестные. Мы, доченька, и-и, какими стеснительными росли! Худой славы боялись.

Пытаюсь оправдать молодых, говорю, что в старину подневольности было много: того бойся, этого стыдись...

— Да как это без стыда можно!— возмущается мама.— Бывало, наденешь платьишко с вырезом, сядешь за стол, отец так и цыкнет: «Чего вымя-то выставила! Вылезь, чтобы я не видал!»

Говорим негромко, но соседи спереди прислушиваются, пожилой мужчина оборачивается и сердито глядит на меня.

— Распущенность одобряете?

Возражать некогда: наша остановка сейчас.

Не порадовало маму, как мои молодые живут. Аглаша возилась на кухне с Нельмой, мыла ее в детской ванне. Слышно, приговаривала:

— Что, Нельмочка, глазки мылом ест? Потерпи, не капризничай.

Не выходила она долго, хоть Люська и сказала ей, что пришли гости.

Вася был занят своим делом: притягивал проволокой пуговицу у пиджака.

— Дай-ка,— говорю,— нитками пришью. Аглаша-то что же?

— Известно что,— буркнул Вася, подавая пиджак.— Сам пришивай, я, говорит, на работе не меньше твоего устаю.

Наконец-то и сноха появилась. На руках Нельма, из мохнатой простыни выглядывает мокрая голова с торчащими ушами и скомканной бородой. Не глядя на нас, Аглаша на ходу процедила «Здрасте», положила собаку на диван и принялась обтирать ее и делать массаж.

— Вытяни лапку. Вот так. Другую. Умница. Ты ведь у меня элитная.

Нам хоть бы слово.

Мама не выдержала.

— Младенца бы пестовать-то надо.

— С меня одной хватит,— не оглядываясь, отрезала Аглаша.— Нынче много-то дурочки только родят. Я с одной-то... Кухня да стирка, в лаборантках как пень и торчу.

— Велика ли у тебя стирка-то,— усомнилась я.— На Васю, как поженились, носового платка не стирывала, все мне тащит.— К слову добавила, что Люсю в школе домоводству учат, пусть дома и закрепляет теорию.

Аглаша так и взвилась, собаку из простыни на пол вытряхнула.

— Нечего ей закреплять. Выдумали! Кукол пеленать, салат готовить — больно нужно! Я что, пианино для мебели покупала? Пианисткой не будет, в науку пойдет, я ее на кибернетику ориентирую, там степень получить — раз плюнуть. С пеленками да с пьяным мужем пусть возятся, у кого на большее ума не хватает.

Выпалила и «Нельмочка, пойдем котлетки дам»,— опять на кухню.

Вася потянул свое пальто из моих рук, оделся. Виновато потоптался у порога.

— Новоселье у товарища. Переезжает. Помочь обещал.

— Что же,— говорю,— иди, коли обещал.

Люська язвительно улыбнулась, дескать, будто тебе и поверили.

— Товарищ все лето переезжает. Скажи лучше — выпить.

— Ты, дочь, помалкивай,— нестрого осадил ее Вася.— Мала критику наводить.

Я попросила Люську поиграть на пианино.

— Две бабушки и послушаем. Из народных мелодий что-нибудь.

Люська, по обыкновению, заныла:

— Поиграй... Вечно ты пристаешь. Надоела мне эта музыка.

Покочевряжилась, села, бойко пробежала по клавишам. Начала одну пьеску — бросила, другую тоже, кончила какой-то вульгарной «А нам все равно, а нам все равно» и захлопнула крышку.

— У нас, бабушка, новый шкаф на кухне. Пойдем покажу.— И потащила меня за руку.

Аглая стояла у стола и что-то ела. С досадой огляну-лась, встала ко мне спиной, и пока я проходила мимо нее, она поворачивалась, чтобы я не могла увидеть, что она ест. Все такая же, какой была, когда мы жили вместе. И тогда ела в одиночку и так же загораживалась.

Пятнадцать лет они живут с Васей и все друг другу чужие. Вася работает слесарем на заводе, свое дело любит и не считает зазорным. Без деталей, которые он штампует, ни один автомобиль с места не движется.

Аглаша даже сказать кому-либо стыдится, что муж у нее слесарь. «Слесарша Пошлепкина». Быть лаборант-кой тоже не велик чин, Аглаша знает это и пробивается в науку, к ученой степени. Кой-что уж сделано: числится в заочной аспирантуре, сдала кандидатский минимум, в лаборатории проводит бесчисленные опыты, результаты которых думает осветить в диссертации. Правда, собранным материалом заинтересовался Яков Данилович, даже попросил ее презентовать ему тетрадки с записями лабораторных наблюдений. Как откажешь руководителю! Аглаша могла гордиться, что ее записи украсили диссертацию его жены. Защита прошла блестяще. На банкет Аглашу не пригласили, там были только свои, но зато сам Яков Данилович подарил ей анодированные часики и сказал, что высоко ценит ее изыскания и готов содействовать ее продвижению по тернистому пути науки.

За семь лет работы в лаборатории Аглаша постарела, глаза ввалились и глядят подозрительно и напряженно. Она все еще собирает материал для диссертации и ждет, что Яков Данилович протащит ее в кандидаты.

Часики давно не ходят. Люська носит их так, для форсу. Вот и сейчас надела их, повертелась перед зерка-

лом, распустила по плечам волосы и крикнула матери, что уходит.

— Дверь не запирайте, я поздно.

— Куда это?— послышалось из кухни.

— В кино. Мальчики из девятого «А» билет обещали купить.

Убежала, только волосы метнулись в двери. Проститься с нами забыла.

Переглянулись с мамой, что ж, мол, посидели, как в холод у нетопленной печки, пора и честь знать. Оделись, заглядываю на кухню. Аглаша сидит спиной к двери. Что, мол, поделываешь?

— Ничего. Поела — перевариваю.

— И то дело. До свидания. Запри за нами.

Не оглянулась даже.

— Ладно, запру.

Бредем к трамвайной остановке. Мама вздыхает.

— И сношкой же тебя бог наградил. Хоть бы чайком попотчевала. Экая ненавистница. Ученая, что ли, зря?

— Не то чтобы...— Я и сама не знаю, как вернее сказать об Аглаше.— Старухина дочка. Вместе с неродной росла, с падчерицей. Как в сказке. С малых лет падчерице корки, а родной дочке Аглаечке мякиши, кусочки послаще да с приговорками: «Ешь одна, а той не показывай». Вот одна и ест и воротит все мякишем к себе. И Люська эту науку переняла, только себя и знает. А уж лени, спеси! Как-то в деревне у моей свекрови роем на усаде картошку. Люся в сторонке. Помогай, говорю. Мать на меня ощерилась: «Людмилочка музыкой занимается, такую работу ей нельзя делать, у нее пальчики огрубеют». Ладно, сами роем, а на мешках сидит этакая матреха,— видела какая!— и семечки грызет.

Бессильной стала мама. Виснет у меня на руке, шепчет с одышкой, скоро ли до шарабана дойдем — так называет она трамвай. И все-таки любопытство, как маленькую, одолевает. Непременно ей знать надо и что за сила шарабан тащит, и взаправдашные ли волосы у снохи, медные вроде, и не качаются ли высокие дома, ежели сильный ветер подымется.

У нашего подъезда на скамьях — одна против другой — целый день жильцы, проходишь между ними как сквозь строй. Допытываются, куда путешествовали мать с дочкой, приглашают посидеть с ними. Мама рада пере-

дохнуть. Толстый подвижный старичок в синем берете вскакивает, усаживает ее на свое место.

Продолжается разговор, прерванный нашим появлением. Почти все тут пенсионеры, толки известные, о немощах и лекарствах, о старине и повреждении нравов молодежи. Старичок в берете, усевшийся на каменный выступ крыльца, рассказывает, как в других землях почитается материнство.

— Тибетцев взять. Какая у них самая счастливая примета? Женщину с ребенком встретить.

— По делу так и должно,— рассудительно окает старуха, по-деревенски повязанная под узелок.— И мы о детях думали, вперед глядели, помогу в них чаяли. А нынче молодые — о себе только. Надёжа на пенсию. Заговори о детях, руками машут: вот еще, хомута не хватало.

— В свое удовольствие живут,— поддакнула старушка с детской вязаной кофточкой в руках.— Одного и то не надо. Сколько уж кофтенку таскаю: внучке мала, а продать некому.— Она растянула ее на пальцах и с жалобным недоумением оглядела нас.— Может, надо кому?— Все молчали.— Хоть бросай,— вздохнула старушка.— Бывало, обувка, одежка со старшего на младшего, носили, звания от нее не оставалось, а сейчас новое на тряпки рвешь.

— Бывало, бывало,— раздраженно проговорила кассирша и поднялась.— Запанихидили. Григорий!— окликнула она пса.— Гришка! Жрать хочешь? Марш домой.

Ушла.

— Запанихидишь,— возразила окающая старуха.— Видано ли, детям перевод. Встречаю нашу деревенскую. Пятый год замужем, родить и не пробовала. Шучу, какая же, мол, ты женщина! Рассерчала, куда ты! Чего, говорит, в нос мне тычешь, что я женщина, я человек, у меня только детали женские. Вот как. И детали-то спрятать норовят. Своя воля. Хочу на завод, хочу в хоровод.

Слово хоровод что-то давнее напоминало маме.

— Мужняя, так уж какие были хороводы,— бойко зашепелявила она.— Семьи большие, нравы крутые. Сколько у молодки сторожов было! Попросится: «Свекор-батюшка, пусти в хоровод». А свекор ей: «Хоть я пущу, свекруха не пустит. Свекруха пустит — деверь не

пустит. Деверь пустит — золовка не пустит. Золовка пустит — твой милый не пустит. А милый пустит — малы дети не пустят».

Слушаю и про себя не нахвалюсь мамой: песню сказала наизусть, может, полсотню лет ее не припоминала. И другие одобрительно кивают: давно песенной старины не слыхивали.

Дома говорю Мите, что мама, пожалуй, сказительницей прослывет.

— Песню сейчас сказывала. Запиши.

30

Мама живет у меня четвертый год. Память у нее совсем ослабела. Правда, очень давнее вдруг вспомнит с такой ясностью, будто и недели с той поры не прошло. Скажет:

— А помнишь, Таня, мы еще в Кузьме жили, ты на поминках у Попрухиных все блины съела?

Ни Попрухиных я не помню, ни блинов.

— Путаешь меня с кем-нибудь.

— Не путаю,— настаивает мама.— Девочка у Попрухиных умерла, схоронили, на обед и тебя позвали. Голод был, маленьким вам и хотели дать по блинку. А ты сидишь перед ставцем, скрутишь блинок и в рот. Все и умяла. Подружки твои при мне тебя корили, если, мол, у кого еще девочка умрет, тебя не позовут, а то опять всех объешь.

Диву даешься, как издалека зацепляет ее память, а скажешь, Паня письмо прислал, равнодушно спросит:

— Какой Паня?

Так меня и полоснет по сердцу. Что с мамой, что с бедной ее головушкой.

В летние месяцы мы с ней живем у свекрови в Родниках. Там и любовь моя и боль моя — могилка Лаврика. На всем кладбище самая она приглядная, цветы на ней от ранней весны до поздней осени. Ухаживаешь за ними, зовешь: мальчик мой, полюбуйся.

Не дозовешься.

У мамы свои печали. Перебирает старые Люськины куклы, зовет их нашими именами. Слышу, горюет:

— Бледный ты, Санечка, надо бы кашки с молочком тебе. Ужо достану. Миша в жару опять. А ты угомонись, Таня, не плачь, Витеньку разбудишь.

Ночью у нас не гаснет «лилия», розовый, тихо сияющий цветок света. Проснешься,— мама лежит на самом краю постели к стене лицом. Встаю, пытаюсь подвинуть ее к середине. Она оглядывается на меня и шепчет, чтобы я не мешала.

— Маленький тут у меня.

Святые материнские грёзы.

Нынче весной написала я братьям и в Васильков Проне, что, может, недолог мамин век, приезжайте свидеться и погостить. Чего, мол, откладывать, ко Дню Победы и соберемся.

Будто по старшинству, первым отозвался Сергей. И рад бы повидаться, говорилось в его письме, но вследствие болезни супруги приехать не имеет возможности. Письма у него были всегда похожи на доклады по начальству: четкие, суховатые, с канцелярскими оборотами. Так и на этот раз. Настоящим доложил, что вышеупомянутая супруга находится в состоянии паралича, выразившегося в потере двигательных и речевых функций. Делово добавил, что больная, по мере сил, использует зрительную функцию и смотрит все телевизионные передачи, включая «Будильник», футбол и «Спокойной ночи, малыши».

Первым приехал Иван, прикатил с Анной Ефимовной на собственной машине. Последняя марка «Жигулей». Все мы вышли к подъезду и маме помогли сойти. Не успели как следует поздороваться, Иван расхвастался машиной: на ходу легкая, тормоза берут мертвой хваткой, сцепление на большой палец...

Анна кивнула на него и словно бы с недоумением сказала, что продали ему такую из уважения.

— «Лада». За границу продать ладили, да, видно, пусть, мол, Иван Астафьич потешится. В почете мой чертушка, куда там! Как шестьдесят стукнуло, уж юбилеили, юбилеили... Собрание было, речи. Орден Трудового дали. Волжский, говорят, рабочий класс.

Иван засмущался — «Хватит!»— но видно, что и машиной и похвалами доволен. Металлические зубы блестят, седые волосы отливают серебром, по лицу перебегают отблески никелевых деталей «Лады».

Митя потоптался около машины, кругом обошел, почтительно потрогал ручки дверей.

— Богато живет рабочий класс.

— Не жалуемся,— снисходительно ответил Иван, довольный и тем, что обставил своего ученого зятя.— Обзаводись. Или боишься, критику сочинять не даст?

— Пожалуй.

— Это уж будь покоен: не даст. Уход, расход... Прорва. То камера лопнет, то аккумулятор сел. Никакие романы в башку не полезут.

— Связался-то зачем же?

— Фанаберия. Один приятель гоняет по Кузьме на «Запорожце», дай, думаю, «Жигулями» ему нос утру. Ну и сынам потеха. Опять же сюда. Зальемся, говорю, Ефимовна, ошарашим.

Анна с притворным возмущением пожаловалась, что гнал чертушко, так гнал, дух у нее захватывало. Иван уверял, что скорость была нормальная.

— Могу доказать. Таня, Дмитрий Макарович, пожалуйте. Маму в середину. А ты, Ефимьевна, рядом со мной, на спидометр поглядывай. Куда желаете? За город? Поехали.

Мама не наохается. Домик как домик,— скамьи, окошки, потолок, только печи нет, а несется, куда ее Ванька захочет. Ну не сказка ли? Даже Митя, к технике совсем равнодушный, завистливо поглядывал, как Иван лихо наматывал километры.

Проня со своим Миколой на такси приехали с аэровокзала. Мама поверить не может, что по воздуху доченька прилетела и на землю спустилась из-за облаков. Микола не впервые у нас, но все еще стесняется. Скажет что-нибудь и покраснеет,— никак у него слова в точности по-нашему не выходят. И еще он руки не знает куда девать, темные они от несмываемой краски. На кожевенном заводе работает, белые там, может, у одного директора да его секретарши.

Думала, не будет Володи. Винит он себя, что когда мама у него жила, не мог ее от Натальиных обид защитить. Та раскричится на беспомощную старуху, рот нароспашь, он в сторонку глядит, будто не слышит.

Приехал все-таки. Слышу, уговаривает маму не держать на него зла за старое, а мама твердит, что на детушек она не в обиде, злого слова от них не слыхивала.

Наконец и Паня на пороге. Измызганный плащишко и все та же фетровая шляпа. Невольно прикидываю, сколько же годков ей, бедняге.

Ни разу еще в нашей просторной квартире не было так тесно и шумно. Раздвинули стол во всю ширину, уселись локоть к локтю, как много лет назад на Гряде. По такому случаю грешно было зелья-веселья не выставить. Тятеньку помянули, Витю, Мишу, здоровья пожелали маме.

Канун Дня Победы. Начали вспоминать, кто и где в этот день был на второй год войны, на третий...

Позвонил Вася. Так и так, говорю, семейная ассамблея, приезжай. Слышу: есть приехать! Является с фотоаппаратом через плечо, в руке авоська с бутылками. На этот счет парень у меня не промах.

Шуму за столом прибавилось. Когда до любимой нашей дошло, «По Дону гуляет казак молодой», Вася давай в нас то с этой стороны целиться фотоаппаратом, то с другой.

Славные вышли карточки. А всего лучше, когда Вася снимал нас в День Победы. Стоим мы перед Вечным огнем все в ряд, за нами стена Кремля, сбегающая вниз, и неоглядная заволжская даль.

В первое время мама подолгу не выпускала из рук Васины фото, разглядывала наши лица в увеличительное стекло, узнавала. Потом все чаще спрашивала: «А это кто?» Стала путать нас и постепенно перезабыла.

С каждым днем бедная моя мама беспамятнее. Митю считает гостем. Покажет на плюшевую штору, за которой дверь в его комнату, прислушается.

— Гость у нас там. Важный. Шуметь не велит.

Подойдет к зеркалу, врезанному в шкаф, жалостливо поглядит на себя.

— Что ты там все одна, сюда бы вышла. Худущая какая, видно, покормить тебя некому. Постой.— Принесет кусок хлеба, отщипнет, положит в протянутую руку.— На, поешь.

За день несколько раз подметешь хлебные крошки. Говоришь, нет там ни комнаты, ни старухи. Зеркало. Не верит.

— Как это нет. Комната, большая, светлая. И одна разъединая старуха. Голодная. Вот и дала ей хлебца.

— Поела?

— Пожевала малость.

Меня она любит и хочет, чтобы я была постоянно с ней, но что я дочь ее, не помнит.

Печатаю на машинке и вдруг ловлю на себе добрый внимательный взгляд мамы. Слышу ее шепот:

— Какая ты старенькая, Таня. Мать-то у тебя жива ли?

Обниму ее, шутливо, чтобы не расплакаться, говорю:

— Жива. Мы с ней сейчас обедать будем.

Содержание

Улыбка прощальная 3
Рябиновая Гряда . 38

Александр Алексеевич Еремин

РЯБИНОВАЯ ГРЯДА
Повести

Редактор **Н. Сафонов**
Художественный редактор **В. Покусаев**
Технический редактор **Е. Румянцева**
Корректор **И. Николаева**

ИБ № 993.
Сдано в набор 03.01.78. Подписано к печати 15.06.78. А09397. Формат 84×108¹/₃₂. Гарнитура литер. Печать высокая. Бумага тип. № 1. Печ. л. 6,5. Усл. печ. л. 10,92. Уч. изд. л. 11,24. Тираж 50 000 экз. Заказ 1012. Цена 1 руб.

Издательство «Современник» Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР 121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25.